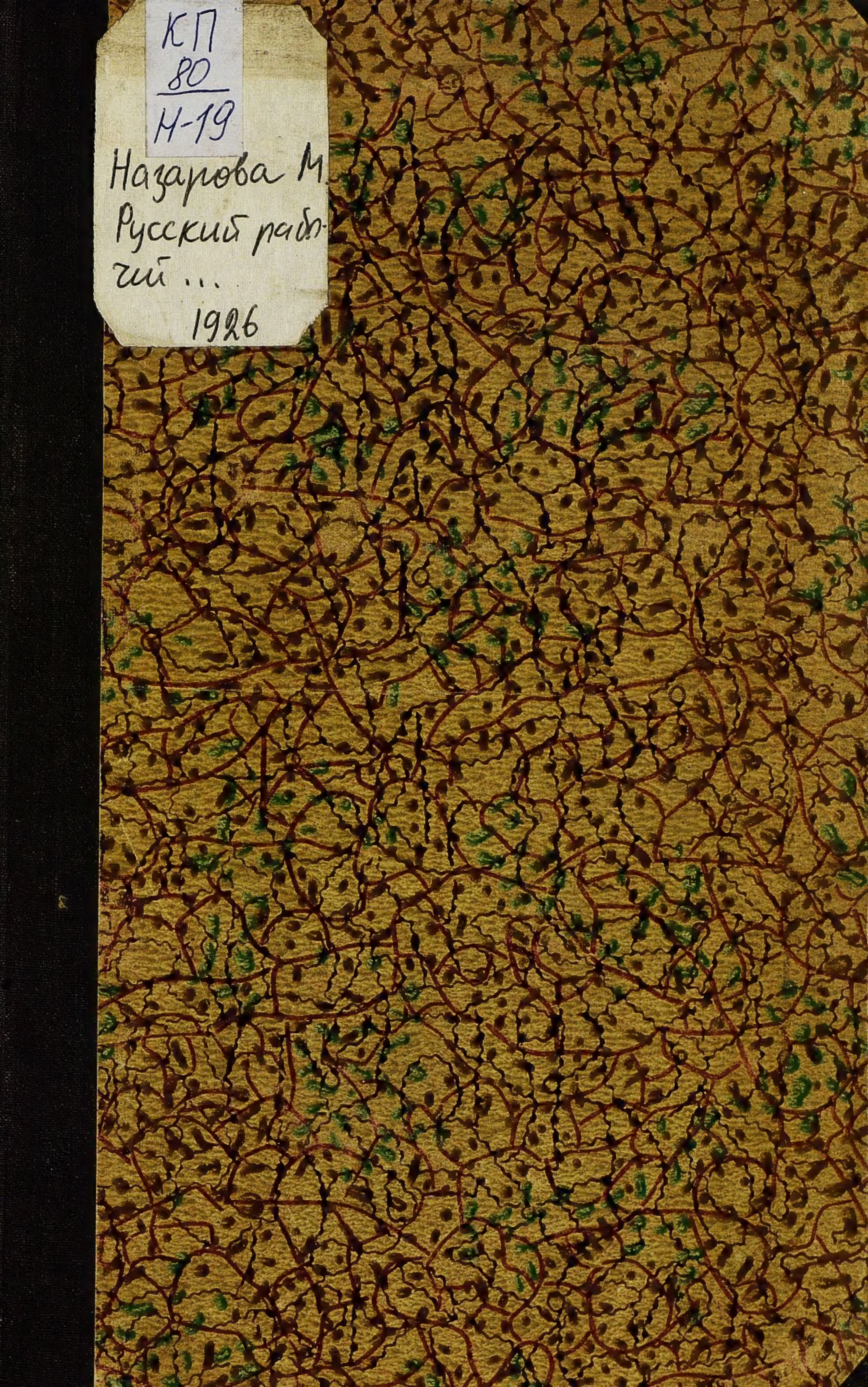

КП
80
Н-19
Назарова М.
Русский рабо-
чий ...
1926

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. НАЗАРОВА и О. САВИНСКАЯ

РУССКИЙ РАБОЧИЙ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

ДОПУЩЕНО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА

"РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
МОСКВА — 1926

Издательство „РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ“

при ЦК Проф. Союза работников просвещения СССР.
Москва, Воздвиженка, 10. Тел. 3-26-25, 3-89-57 и 5-72-98.

I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ.

	Р.	К.
Автухов, И., и Мартыненко, И. Программы ГУС'а и массовая школа	1	75
Белоусов, С. Этапы развития школьного самоуправления	—	90
Беляев, М. Элементы эволюционного учения в работе школы II ст.	—	50
Бергман, С., и Долинский, С. Кружковая работа в клубе	1	—
Блонский, П. Новые программы ГУС'а и учитель	—	15
„ Педагогика. 6-е издание	—	80
„ Основы педагогики	1	25
„ Педология	2	—
„ Педология в массовой школе I ст.	—	50
„ Первый триместр в новой школе I ст. 3-е издание		35
Варейкис, И. Политика партии в деревне и задачи крестьянской печати.	—	20
Варендонк, Ж. Детские сообщества. С предисл. В. Н. Шульгина	—	65
Дьюи, Дж. Школа и общество. 2-е издание	—	60
Зеленко, А. Детские музеи в Сев. Америке	2	25
Ивановский, П. Физическая культура в школе. 3-е изд.	—	15
Игнатьев, В. Основы физической культуры. 2-е изд.	—	40
Иорданский, Н. Массовая трудовая школа. 3-е изд.	—	35
„ Основы и практика социального воспитания. 4-е изд. исправл. и дополн.	2	40
Карельских, А. Через школу к организации крестьянского хозяйства. 4-е изд.	—	75
Кравков. С. Очерк психологии	1	—
Крупская, Н. Заветы Ленина в области народного просвещения. 3-е изд.	—	15
„ Коллективная работа учительства. 2-е изд.	—	10
„ Советская школа	—	15
Ленин, Н. Социалистическая революция и задачи просвещения (статьи и речи). 2-е изд.	—	40
Лифшиц, Е. С[illegible]	1	50
Луначарски[illegible]	1	40
„ [illegible]	2	75
Меде, В., [illegible]	—	75
Мишин, С. [illegible]	—	45
Моложавы[illegible] ксист-ском[illegible]	—	80
Пинкевич[illegible]	—	80
„ [illegible] изд.	2	—
„ [illegible]	1	15
„ [illegible]	2	25
Пистрак, М[illegible] изд.	1	20
Попова, Н[illegible] зни“.	—	60
„ [illegible]	2	—
„ [illegible]	2	—
Рыклин, Г. [illegible]	—	65
Рыков, А. [illegible]	—	20
Современна[illegible] пре-дисло[illegible]	1	50
Учитель и [illegible] Ко-ростел[illegible]	1	10
Шацкий, С. [illegible]	—	70
Шульгин, В. [illegible] ниях. 5-е изд[illegible]	—	35
„ О н[illegible]	—	35
„ Обш[illegible] ние	—	35

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. НАЗАРОВА и О. САВИНСКАЯ

РУССКИЙ РАБОЧИЙ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

ДОПУЩЕНО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ"
МОСКВА — 1926

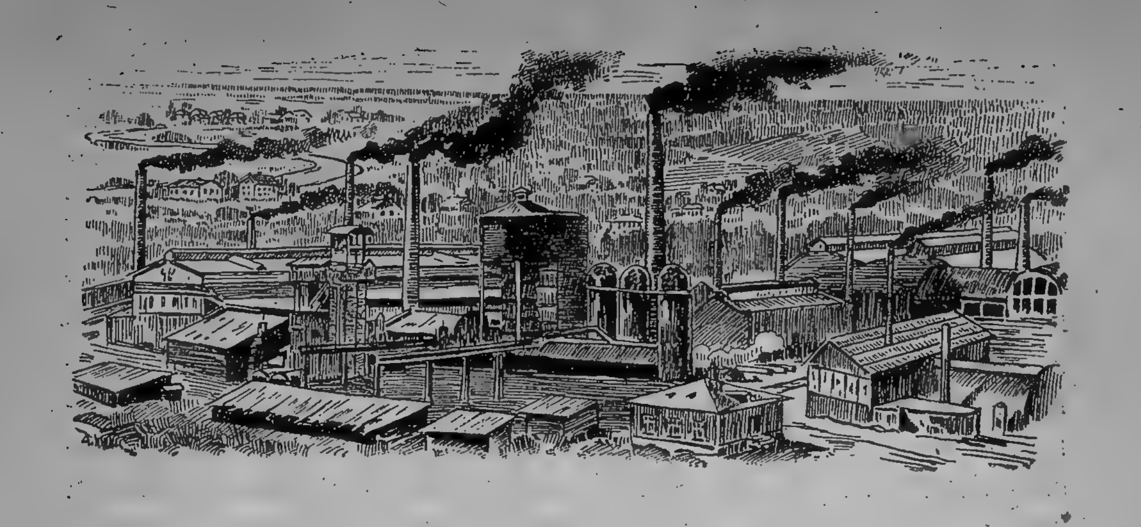
СРОК ВОЗВРАТА КНИГИ.

Главлит № 60824. Тираж 6000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий“. Москва, Пименовская ул., д. 16.

I.

ЖИЗНЬ РАБОЧИХ ПРЕЖДЕ.



Завод.

Дымит, гремит гигант-завод
Вдали от нив и синих вод.
Звенит, шипит, горит, как ад,
Из труб швыряя дым и смрад,
Свистит, гудит, сзывая рать,
Чтоб мир весь сталью оковать,
И люд, оставив жизнь полей,
В него бредет с нуждой своей,
В него, под своды хмурых стен,
Для новой жизни, перемен.
А он рычит, горит, как ад,
Из труб швыряя дым и смрад,
Гремит, гудит, сзывая рать,
Чтоб цепи тяжкие порвать.

Из деревни на фабрику.

На краю села стоит большое каменное трехэтажное здание, неуклюжее, с гладкими стенами, без малейших украшений. Около этого главного здания, по широкому двору, тянутся другие постройки, меньшие размером, но такие же некрасивые. Все они вместе с двором обнесены высоким забором с воротами. Посреди двора поднимается от самой земли высокая, как каланча, каменная труба. В главном доме целый день и всю ночь непрерывный гам, шум, стук и треск, среди которого время от времени вырывается и разносится далеко по воздуху пронзительный свист паро-

вика. Из большой трубы постоянно поднимаются облака густого черного дыма. По ночам все окна здания ярко освещаются изнутри огнями, из трубы вместе с дымом вылетают иногда снопы огненных искр, которые мгновенно вспыхивают на темном небе и так же быстро погасают; все спит кругом, в селении, на полях, в лесу, во всей природе,— везде тишина, спокойствие, безлюдие, а шум и стук в освещенном здании не умолкают и еще резче, чем днем, слышатся в окрестностях. Только в ночь с субботы на воскресенье и весь праздничный день все затихает в этом большом доме; огонь внутри его не замечается, и высокая труба не дымит, точно все здесь засыпает и отдыхает от недельного безостановочного движения и шума. Мрачно, уныло и неприветливо смотрят тогда эти высокие, безмолвные каменные стены, это опустелое, покинутое людьми и жизнью громадное здание: ворота заперты, на дворе пусто, безлюдно, внутри стен все неподвижно, безмолвно; изредка разве только послышится шорох торопливо пробегавшей по опустевшему зданию и юркнувшей под пол крысы. Но прошел этот суточный отдых, и здание вдруг как будто оживает: паровик начинает шипеть и пыхтеть; привода, ремни, колеса двигаются; поднимается обычный шум, стук, движение; снова на целую неделю опять идет непрерывный, однообразный, тяжелый труд...

Эти здания были фабрикой, на которую Маша везла своего брата. Въезжая на фабричный двор, Павлуша, разиня рот, с любопытством и некоторым замиранием сердца, даже отчасти со страхом, смотрел на высокие здания, прислушивался к непривычному шуму и стуку.

Вид фабрики с ее высокою дымящеюся трубою, с окружающим забором, по которому торчали гвозди острием кверху, смутный шум и стук, происходящий от невидимой причины за стенами здания, озабоченные, суровые, бледные лица рабочих, пробегавших по фабричному двору, — все это сразу согнало веселую и радостную улыбку с лица Павлуши, сердце его как-то невольно сжалось и упало, глаза испуганно раскрылись: он боялся, сам не зная чего, и жался к сестре; она пошла в контору; он пошел за сестрою, робко поглядывая по сторонам. Вдруг раздался сильный, оглушительный свист, какого Павлуша и вообразить себе не мог;

он испугался, шатнулся в сторону, но уцепился за сестру и устоял...

— Не бойсь: это машина свищет... Вон смотри — бегут...

Она указала рукою по направлению к высокой лестнице, прислоненной снаружи к каменной стене фабрики и ведшей во все ее этажи. По этой лестнице с шумом, криком, толкаясь и опережая один другого, спускались рабочие — взрослые и дети. Многие из них были в одних рубашках, босиком и без шапок, несмотря на мороз, у других накинуты на плечи кафтанишки и полушубки. Лица у всех были усталые, бледные, недовольные.

— А уж там теперь на их место другие стали, — пояснила Маша: — одна смена уходит, а другая уж на ее место становится... Все по часам, потому машина не ждет, нельзя... Вот и ты этак будешь бегать...

Они вошли в контору. Там стояло несколько человек мужиков и баб, и впереди за прилавком, на котором лежали толстые большие книги и счеты, сидел пожилой, тучный, приземистый человек со строгим лицом.

Хозяин заметил Машу и сам подозвал ее.

— Это братишка, что ли, твой?

— Мой, Василий Петрович!.. Вот что просила я тебя на завод-то принять; возьми, не оставь...

— Больно он мал... Ну, да уж ладно, ступай, отведи его в корпуса; спроси там старосту Якова Кучумова.

Дети вошли в большую длинную и низкую комнату. Среди нее выступала большая русская печка; по всей комнате, по стенам ее, вдоль и поперек, тянулись голые нары и стояли лавки да два простых больших стола; в переднем углу висела икона; по стенам на гвоздиках кое-где были развешаны кафтаны, полушубки и шапки, — вот все убранство этой казармы.

Около столов и на нарах сидели и лежали дети всех возрастов от десяти до шестнадцати лет. Почти все они в настоящую минуту ели—кто черный черствый хлеб, кто ржаной пирог с начинкой из лука—и запивали водой из больших ковшей, стоявших на столе. Это была смена, только что воротившаяся с работы и оканчивающая свой обед. Детский обед на фабриках всегда в сухомятку, всегда без варева и приносится детьми с собою из дома на целую рабочую

неделю, т.-е. от понедельника до субботы; разве только из очень близких, совсем соседних деревень приносили иногда из дома в течение недели что-нибудь из съестного посвежее и помягче.

Несмотря на усталость, дети шумно и все почти в один голос разговаривали; но в этом шуме и говоре не было слышно детского веселья и смеха. Появление в дверях Маши с братом привлекло общее внимание; разговоры на мгновение прекратились. Маша и Павлуша оробели и смутились перед толпой незнакомых мальчишек. Они переминались, стоя у дверей, и молча оглядывали большую избу и эти оборотившиеся к ним какие-то вызывающие, неприветливые, бледные и зеленые лица тридцати—сорока мальчиков. За минутой молчания последовал вдруг беспричинный смех, посыпались насмешливые замечания. Наконец, послышался старческий голос:

— Да кто у вас тут?—И из-за печки вышел седой сгорбленный старик в одной рубахе и валеных сапогах.

Он подошел к нашим детям.

— Что вам надо?—спросил Машу дедушка Яков.

— Вы будете, дедушка, староста... Яков Кучумов?

— Ну, я самый... Что же надо?

— Хозяин, Василий Петрович, нас к тебе прислал: вот братишку моего на фабрику принял в работу, так тебе велел сдать.

— Ну так что, пущай... Вот я ему гвоздик дам и место... Подьте сюда...

Он начал смотреть по стенам, где были свободные, незанятые одеждой гвозди.

— Ну, рекрут [1]) малый, обратился он к Павлуше,— вот твое место-логово,—вот, знай, а вот твой гвоздь: на нем одежду вешай, а тут спать будешь. Коли короб есть, под нары его ставь, опять под свое место... Ну, мешечек опять же на гвоздь: у меня цело будет, не бойсь... У меня чужого тронуть никто не моги, с фабрики сживу... У нас хорошо, в обиду друг дружку не даем...

— Я, дедушка, пойду Машонку провожу только,—бойко

---

[1]) Новобранец, только что поступивший на военную службу; в данном случае—просто вновь поступивший на фабрику.

сказал Павлушка, который, смотря на старика и слушая его, почему-то вдруг и успокоился и повеселел.

— Ну, подь, проводи, отчего же...

Маша поклонилась старику и пошла опять к конторе. Павлуша оставался, пока ходила туда сестра, около своего друга—Сивки, с которым ему предстояла скорая разлука. Он подошел к нему, погладил его по боку, оправил хвост, зашел спереди, с головы, посмотрел Сивке в глаза, которыми, казалось ему, он молча с ним разговаривал и, оглядевшись по сторонам, не видя около себя никого, обнял его голову и прижался щекой к его морде. Сивка точно сам просил этой ласки, понимал предстоящую разлуку и скучал, потому что стоял, опустя голову.

Павлуша хоть и бодрился и не плакал, разговаривая с Сивкой и обнимая его, но на сердце у него было очень тяжело, и слезы подступали к глазам. Он пошел к саням, достал из них клочок сенца и поднес к морде лошади. «Ну-ка, поешь из моих-то рук», приговаривал он. Сивка слушался и забирал губами клочки сена из рук приятеля. За этим занятием застала их Маша, вышедшая из фабричной конторы.

— Ну, прощай, счастливо оставайся... Мне пора уж,—проговорила Маша, с невольной грустью смотря на брата.—Там в мешке-то всего много—и хлебца, и яичных колобков, и пирожок, а в тряпичке сольцы завязано...

— Я те провожу маленько,—сказал Павлуша, вскакивая в сани. Тошно ему было и тяжело казалось вдруг остаться одному.

— Вот только сквозь села провожу... Дай-ка поправлю... Ну, Сивка, потешь на прощанье.

Павлуша взял вожжи из рук сестры.

— Поди, батюшка, пора,—сказала, наконец, Маша, когда они выехали за околицу.—Прощай, родименький!

Павлуша молча отдал вожжи сестре, молча вышел из саней и стал среди дороги, уныло смотря вслед уезжающей сестре. На некотором расстоянии она оглянулась и кивнула головой, но Павлуша долго еще стоял и смотрел ей вслед. Вот она передернула вожжами и слегка ударила ими по Сивке, тот побежал рысью и замахал головой, точно тоже прощался с Павлушей.



Проводы подростка на фабрику.

Димка на стекольном заводе.

1.

Уныла была местность, среди которой с незапамятных времен основалась деревня Паголенка. Грязная речонка, которой даже и название было «Гнилушка», вязкие болота кругом, тощие елочки и березки, тощие песчаные поля, на которых и репейник не рос, — вот картина, которая изо дня в день расстилалась перед глазами паголенцев.

Однако самим паголенцам это нисколько не казалось странным, а Димка Рукавицын находил даже, что лучше Паголенки и на свете ничего нет. Он любил и свою Гнилушку, в глубокой тине которой водились жирные раки, и ржавые болота. Семья Димкина жила очень бедно, почти в нищете, хлеба своего нехватало, изба была холодная и сырая. Но Димка был еще чересчур мал, чтобы понимать весь ужас такой жизни, и пока она давала ему больше радостей, чем горя. С диким весельем он кувыркался зимой в сугробах, летом хлюпал по болотам. Правда, Димка ревел, когда было холодно и голодно, но это его горе быстро сменялось радостью, стоило только получить ему ломоть хлеба или грошовый пряник в базарный день. Особенно он чувствовал себя счастливым, когда наступала весна. Вырвавшись

из душной избы на простор, он предавался самой неудержимой веселости со своими товарищами.

Так прожил Димка до 10 лет, когда вдруг произошло событие, перевернувшее вверх дном все его несложное существование.

Однажды осенью он играл с ребятишками на улице в бабки и только что прицелился метнуть свинчаткой в кон, как прибежала его старшая сестра Малявка и, задыхаясь, сказала:

— Димка, иди, тебя тятька кличет!

— Почто? — спросил Димка и метнул в кон. Бабки разлетелись в разные стороны, и при шумных одобрениях товарищей Димка со всех ног бросился собирать в подол добычу.

— А я почем знаю? — сказала Малявка. — Иди же, тебе говорят...

Димка собрал бабки и неохотно пошел домой. Ему хотелось доиграть кон.

— Вы меня подождите, я сейчас приду, — сказал он товарищам, уходя.

Но в избе его ожидало такое необычайное зрелище, что Димка сразу забыл про бабки. Стол был накрыт скатертью, и на нем кипел давным-давно нечищенный самовар. От него клубами валил пар, наполняя облаками тесную избу, а в этих облаках Димка увидел какого-то дородного молодца, лет 30, в синей хорошей поддевке, подпоясанной голубым кушаком, в красной рубашке, расшитой желтыми петухами, и в смазных сапогах гармошкой. Отец Димкин сидел рядом и пил чай, а мать и сестры жались у печки.

При входе Димки и молодец, и тятька оба сразу перестали тянуть чай с блюдечек и переглянулись.

— Этот самый? — спросил молодец.

— Этот, — сказал тятька и почему-то вздохнул.

— Ну годится. В самый раз. По рукам, значит?

Отец глядел в землю и молчал.

— Тридцать целковых — не шутка! — продолжал молодец убедительно. — Бери задатки, да и по рукам!

«Про кого это они?» подумал Димка, и сердце его заныло. Ему представилось, что отец продает старого коня Пегаша, и он сразу возненавидел молодца в рубашке с петухами.

— Дело чисто! — говорил между тем гость. — Пять годов в ученье, по пяти целковых в год, да одежа, обутка, да харч хозяйский, да на выход опять пятерку в руки! И мастерству научат и еще денег за это дадут, — тут и думать нечего!

— Так-то оно так! — проговорил, наконец, отец Димки. — Дело оно, конечно... да, вишь, боязно как-то...

Молодец сердито вытер свое красное и потное лицо зеленым бумажным платком и фыркнул.

— Чего боязно! Ничего не боязно! Не на край света ведь его отправляешь, а к хорошему делу! Завод наш самый первеющий; мастером будет, по восьмидесяти рубликов в месяц начнет отхватывать, а ты — «боязно»! Эка народ какой несообразный!

— Так-то оно так... — нерешительно повторил отец.

— Ну, а так, так и пышки в мак! Чудак человек, благодарить будешь!

— Что ж, собирать его, что ли? — спросила мать, громко сморкаясь в фартук.

Отец махнул рукой, и они с молодцом куда-то ушли. Мать налила всем чаю, но сама пить не стала и тихо плакала.

— Мамка, Пегаша продали? — спросил ее Димка.

— Чего еще? И не Пегаша вовсе! — отвечала мать.

— Так для чего же к нам этот молодец пришел?

Мать не ответила и только заплакала еще пуще. Димке стало что-то тоскливо, — он не любил, когда мать плакала. Это всегда было не перед добром.

С такими мыслями он незаметно заснул и проснулся только под утро, разбуженный легонькими толчками в бок.

— Вставай, Димка! — ласково говорила ему мать. — Вставай, ягодка, слышишь, вставай!

Ласковый голос и ласковые слова матери были редкостью, и у Димки от удивления даже сон сейчас же прошел. Он не стал по обыкновению брыкаться, а поднялся живехонько.

— Ты чего, мамка?

— Вставай, сыночек, ехать пора. Отец запрягать пошел.

— Куда ехать? — спросил Димка и стал спускаться с печи.

В избе было холодно и тускло горел ночник. Димка удивился еще больше, когда увидел вчерашнего молодца, кото-

рый тоже только что встал и ходил в одной жилетке. Димка поглядел на его жирный затылок, отвисавший над воротом рубахи, и ему вдруг стало страшно.

— Мамка, куда же ехать-то? — робко вымолвил он.

Но мать вместо ответа ухватила его вдруг за шею, склонилась над головой и завыла. За нею заревел и Димка, и сестры, как лягушки, попрыгали с печи и тоже подняли крик.

Молодец обернулся и сказал с досадой:

— Ну, чего вы взвылись? Он у вас человеком ведь будет.

— Не хочу, не хочу! — кричал Димка, вцепившись обеими руками в материн сарафан.

Вошел отец в полушубке, подпоясанный, с кнутом в руках и сказал: «Готово!» Димку оторвали от матери и одели его в старенький тулупчик, в старую шапку и сапоги, которые он прежде надевал только по праздникам. Потом все вышли на двор, где уже стояла телега, запряженная старым Пегашом. Димку посадили в телегу, а вслед за ним ввалился молодец и больно прищемил ему коленку своим грузным телом.

Отец хлестнул Пегаша, и телега, гремя по мерзлым кочкам, съехала со двора. В последний раз перед Димкой мелькнули заплаканные лица матери и сестер, растрепанная крыша избы, ветелка на улице, рыжий петух у ворот, — и потом все эти милые сердцу, родные предметы скрылись из глаз, задернутые занавесом горючих слез.

2.

Миновали деревню. Свежий, холодный ветер поля и грохот колес по замерзшей земле привели Димку в себя. Он робко косился на своего соседа, а тот курил папиросу за папиросой и рассказывал отцу про Москву. И эта Москва, наконец, стала представляться Димке чем-то вроде злой ведьмы, которая жрет деревенских ребятишек, и он с враждебностью и недоверием прислушивался к рассказам молодца.

Было уже за полдень, когда они приехали в уездный город. Димка никогда не был в городе и с удивлением смотрел на большие дома, на широкие улицы и чудных людей, разгуливающих по этим улицам. Но потом он вспомнил

о своей покинутой Паголенке, и ему стало скучно. Они остановились на каком-то постоялом дворе, где молодец с отцом опять пили чай и закусывали. Но Димке не хотелось ни пить, ни есть, и он, нахохлившись, сидел в углу и думал, как хорошо, небось, теперь в Паголенке: ребята на улице играют, Акишка-Дударь на жалейке зажваривает, Моська-Лопоухий пляшет, — весело!..

— Тятька, — шепнул он, дергая отца за рукав. — Тятька, поедем домой!

Но тятька его не слушал: он вперебой с молодцом задувал песни. Когда он начинал, молодец говорил: «Не так!» и затягивал сам, а когда начинал молодец, тятька тоже говорил: «Не так!» и пускал всей грудью такую ноту, что половой подбегал к ним и убедительно просил держать себя «поблагороднее».

Стало темнеть, зажгли лампы. Молодец вдруг оборвал песню, посмотрел на часы и сказал: «На машину пора!» Тятька заплакал и стал прощаться с Димкой, прижимаясь к его лицу мокрой бородой.

— Ну, сынок, смотри! — бормотал он слезливо. — Учись!.. Человеком будешь...

Отец вышел на двор и стал запрягать лошадь. Димка последовал за ним, и, когда увидел морду старого Пегаша, им овладело такое отчаяние, что он завыл и вцепился в отца.

— Тятька, и я с тобой поеду! Не хочу здесь, хочу домой!

— Молчи, сынок, — говорил отец, дрожащими руками натягивая супонь. — Учись, дитятко, человеком будешь!

— Не хочу быть человеком! — ревел Димка.

Отец сел в телегу и ударил Пегаша вожжами. Но Димка ухватился за грядку, навалился на нее животом и так, на весу, выехал за ворота.

— Ну, будя дурить, малый! — сказал отец уже сердито и, столкнув Димку с грядки, погнал вскачь, не оглядываясь. Димка упал носом в грязь, потом вскочил и бросился было догонять отца. Но чья-то рука схватила его сзади, и корявые пальцы пребольно впились ему в ухо. Это был молодец.

— Ты что же это, бежать вздумал? — зарычал он. — Я за тебя задаток дал, а ты от меня дерака? Нет, уж это, брат, дудки... завязал узел—не развязывай.

3.

Они пришли на вокзал. У подъезда были толкотня и давка. Мелькали уродливые тени; гремели колеса беспрерывно подъезжавших пролеток. Димка уже не ревел и покорно плелся за молодцом. Когда же перед ним из тумана выплыли вдруг три огненных глаза, и черное чудовище с оглушительным шипеньем и грохотом промчалось мимо него, он затрясся всем телом, как пойманный зверек в собачьей пасти.

Как подали поезд, как Димку втиснули в вагон, этого он совсем не помнит. Только когда поезд тронулся, и мимо окон замелькали зеленые и красные огни, Димка несколько пришел в себя и огляделся. Вагон был битком набит, едкий дым махорки облаками носился вокруг; люди в тулупах, с узлами, сидели на скамейках, разговаривали, ссорились, и их громкий говор сливался с громом и лязганьем поезда.

— Ну, вот и едем! — говорил молодец, обращаясь к дрожащему Димке. — Утром и в Москве будем!

К утру местность за окном изменилась. Показались какие-то высокие трубы, из которых валил черный дым; потом побежали дома, домики, голые деревья, длинные заборы, потом опять трубы, трубы...

— Ну, малый, собирайся, сейчас нам вылезать, — хмуро сказал молодец.

Димка схватил свой узелок и прижал его к груди.

— Смотри, выходить будем, ты от меня не отставай, — продолжал молодец. — Потеряешься — беда!

Вдруг в вагонах потемнело, поезд пошел тише и скоро остановился совсем.

— Иди скорей, — сказал молодец.

Димка вцепился молодцу в поддевку, и они вышли на платформу. Здесь их так и закрутило, точно в омуте. Все куда-то бежали, толкались и кричали; молодец тоже летел, как сумасшедший, расталкивая толпу плечами и руками; Димка еле за ним поспевал. Он ничего не понимал, зачем все это, и думал только: «Москва!»

Выбравшись из вокзала, молодец не пошел пешком, а нанял извозчика, и они поехали. Ехали, ехали, — все улицы, переулки, дома и все люди, люди без конца. Димке уже

начало казаться, что они всегда так будут ехать и никогда никуда не приедут... Но вот улицы стали похуже, люди стали попадаться реже, потом пошли заборы и огороды, извозчик остановился у каких-то ворот, перед которыми на лавочке сидел старик-сторож с седыми висячими усами и с медалями во всю грудь. Он дремал, пригревшись в тулупе.

Сторож отпер перед ними калитку, и они вошли во двор, обстроенный длинными, низенькими корпусами, грязными и закоптелыми от времени.

На дворе было пустынно, но где-то близко слышались странные звуки, не то жужжанье, точно вздыхало и кряхтело какое-то огромное животное.

Молодец перешел двор наискось, поднялся по темной лестнице и отворил дверь. В низенькой, сводчатой комнате, заставленной старыми, пыльными шкапами, за конторкой сидел конторщик. При виде молодца он оставил свое занятие и оживился.

— А, Никоныч! — сказал он. — Одного только? Мало ты нынче. Билет есть?

Молодец вытащил из-за пазухи сверток бумаги, а человек мельком взглянул на Димку, точно это был не живой мальчик, а какой-нибудь неодушевленный предмет, позвал дворника и приказал ему взять Димку. Димка даже и слова не успел сказать молодцу, как дворник подхватил его за руку куда-то повел. Мальчик заплакал.

— Чего ты? — сказал дворник. — Тебе здесь хорошо будет. Дойдешь до дела, человеком будешь.

Димка молчал и всхлипывал. Вошла кухарка; она поглядела на него и со вздохом сказала:

— Эх, ты, горький! Знать нужда, коли тебя этакого родители отдали. Ну, не плачь, я тебе щец принесу похлебать.

Она притащила из кухни деревянную чашку с горячими вчерашними щами и поставила перед Димкой. Это так тронуло Димку, что он заревел еще пуще.

— Ну, и чего ревешь? — сказал дворник. — Ничего, обвыкнешь. Хлеб-то, он, брат, не даром достается. Не один ты здесь, вас много будет, — весело.

4.

Наплакавшись и потеряв всякую надежду убежать, Димка похлебал остывших щей, прилег на нары и заснул. Вдруг его разбудил отчаянный, визгливый вой, раздавшийся, как ему показалось, над самым ухом. В ужасе Димка вскочил и бросился к дверям, но в эту минуту дверь настежь распахнулась, и в комнату с гиканьем, свистом и топотом ворвалась целая толпа мальчиков всех возрастов, в рваных красных рубахах, полотняных штанах и опорках на босу ногу. Все они были худы, бледны и вымазаны сажей; руки у них были черные от копоти, и от их одежды несло постным маслом и потом.

— Братцы, новый! — закричал кто-то из них, и все они окружили Димку.

— Откуда ты?

— Когда тебя привезли?

— Как тебя зовут? — посыпались на него вопросы.

Испуганный Димка молчал.

— Э, братцы, да он — корела! Говорить не умеет!

В комнату вошли двое взрослых: один из них — дюжий старик с свирепыми усами и огромной волосатой бородавкой под левым глазом; другой — тщедушный, черненький, с злым взглядом и втянутыми внутрь губами, над которыми вились жиденькие усики. Усатый старик нес жестяной бак с дымящимися щами, а черномазый — груду деревянных чашек и ложек.

— Цыц, вы! — зарычал усач, ставя на стол бак. Черномазый не ругался, но, проталкиваясь сквозь толпу, как-то втихомолку ухитрялся ткнуть то коленкой, то локтем подвертывавшихся ему под ноги и при этом злобно шипел, как разозлившаяся змея.

По комнате распространился запах горячих щей, и ребята с немытыми руками накинулись на еду. Ели они все жадно. После щей подали пшенную кашу, политую топленым салом. Рядом с Димкой сидел мальчик лет 12, с бледным золотушным лицом, красными припухшими веками и остреньким носиком, которым он так и поворачивал во все стороны, точно воробей. На щеке Димка заметил у него большую рану.

— Ты что же не ешь, корела? — обратился он к Димке.

— Не хотца... — прошептал Димка робко.

— А, да ты умеешь говорить-то? Братцы, слышите: корела-то говорит!

Они разговорились. Димка узнал, что шустрого мальчугана зовут Митькой, что все они заводские ученики и работают на стекольном заводе, что работа очень тяжелая, а житье плохое, что усача зовут Бородавкой, а черномазого — Гвоздем и что оба они — дядьки, приставленные надзирать за учениками.

— Бородавка-то ничего — добрый, иногда ребятам пряников покупает, — рассказывает Митька. — А вот Гвоздь злющий-раззлющий, не попадайся на глаза ему.

— А чего это у тебя на щеке-то?

— Обжог. У меня мастер сердитый, чуть что не так, сейчас горячей дудкой в лицо ткнет. Вот и спалил шкуру.

Все это Митька говорил совершенно спокойно, как человек вполне бывалый, которого уж ничем удивить нельзя. Димка слушал его с удивлением и страхом и все больше укреплялся в мнении, что «человеком» быть не стоит.

После обеда опять послышался оглушительный вой, и ребята торопливо повскакали из-за стола. Гвоздь так и шнырял по углам, выгоняя учеников на работу и покрикивая:

— В гуту, в гуту! Живей, не проедайтесь!

Димкин сосед тоже вылез из-за стола.

— Что это такое? — спросил Димка, перепуганный этим непонятным воем.

— А что?

— Да вот, воет-то... Чисто ведьма!

Митька засмеялся.

— Какая ведьма? Это гудок. Значит, на работу пора.

Скоро комната опустела, и Димка снова остался один. Пришел Гвоздь и отвел его в спальню. Очутившись опять в пустой и мрачной комнате, Димка забился на нары и с горя заснул, как убитый.

5.

— Вставай, вставай! Живее! — слышит Димка над собою голос Гвоздя.

Димка протер глаза и вскочил.

— Нынче в гуту пойдешь, — сказал ему Гвоздь. — Сымай свое платье, форму наденешь.

Своими крючьями-пальцами он стащил с Димки домотканную рубашонку и облачил его в красную, засаленную блузу, вероятно, уже побывавшую до Димки на многих плечах. И Димка стал уже не паголенский Димка, который беззаботно носился по родным кочкам и болотам, а заводский ученик, из которого должен был выйти «человек». А гудок все выл настойчиво и злобно.

Ребята уже встали, умылись перед ушатом, стоявшим у дверей, и дядьки роздали всем по куску черного хлеба и по кружке чаю.

После чая все гурьбой повалили на двор. На дворе было еще темно, гнилой туман висел над заводом. Ночью опять шел дождь и развел на земле огромные лужи; холодная липкая грязь забиралась в опорки и неприятно хлюпала в них. Димка старался не отставать от всех и, узнав в толпе своего вчерашнего знакомого Митьку, присоседился к нему.

— Куда это мы идем? — спросил он.

— А вот увидишь куда.

Из полумрака вынырнул целый ряд освещенных окон, за которыми уже слышались знакомые Димке жужжанье и пыхтенье. По матовым стеклам ходили какие-то огромные, живые тени, точно там сидело какое-то чудовище и махало руками.

— А это что такое? — продолжал Димка.

— Это машина. Здесь посуду шлифуют и матят.

Димка ничего не понял, со страхом поглядел на мелькавшие тени и последовал за Митькой.

Они вышли на другой двор, и перед ними выросло новое здание, длинное и низенькое, со множеством окон, глядевших как глаза. Там тоже светились огни и что-то глухо шумело.

— Вот и наша гута! — сказал Митька. — Иди да держись за меня, а то башку расквасишь.

6.

По скользким ступенькам они поднялись наверх, дверь перед ними широко открылась, обдав их удушливым жаром, и они очутились в гуте. Это был огромный, длинный сарай с двумя дверями, отворенными настежь друг против друга.

Средина была ярко освещена, а углы тонули в сумраке, среди которого смутно вырисовывались деревянные столбы, поддерживающие здание. Ослепительно-яркий свет вырывался из двух печей, в которых стояли котлы с расплавленным стеклом; белые искры летели от них во все стороны и потухали в воздухе. Рабочие с длинными трубками сновали перед котлами: одни выдували огромные огненные пузыри и махали ими над головой; другие опускали их в формы, смазанные постным маслом, и расплавленное стекло, разметывая вокруг себя огненные искры, с шипением превращалось в солонки, чернильницы; третьи, наконец, со страшной быстротой крутили в воздухе огненные шары, и из них выходили огненные графины, бутылки, стаканы.

Толстый, одутловатый, с запухшими глазами рабочий, в замасленном фартуке, с расстегнутым воротом рубахи, сидел около самой печи и только и делал, что обрезал огромными ножницами огненные шары, которые подавал ему мальчик, и из-под ножниц выползали красные змеи, постепенно чернели и звенящими осколками падали на пол, а в руках толстяка оставалось блюдце, и другой мальчик щипцами подхватывал это блюдце и нес в калильную печь.

В первую минуту Димка был оглушен, ослеплен, и ему показалось, что он попал в ад. Свистящее пламя, звон стеклянных осколков, огненные шары, летающие кругом, черные фигуры людей, от которых, казалось, сыпались искры, — все это произвело на него ошеломляющее впечатление. Он не знал, куда деваться, и, ничего не понимая, зажмурив глаза, дрожа, как лист, забился в угол и стоял там ни жив, ни мертв. К нему подошел человек в пиджаке и взял его за плечо.

— Ты что же это ничего не делаешь? — сказал он.

— Это, дяденька, новый! — сказал Митька.

Человек в пиджаке дал Димке щипцы и приказал осторожно переносить ими блюдца, которые делал толстый мастер. Димка попробовал сделать это так же, как делал мальчик, и подхватил блюдечко щипцами, но блюдечко вдруг запрыгало, завертелось; он хотел поддержать его руками, больно обжегся, уронил блюдце на пол и заревел.

— Ах, чтоб тебя! — сказал толстый мастер, глядя на осколки.

Димка плакал и дул на свои обожженные пальцы.

— Дюже обжегся? — спросил мастер добродушно. — Ну, ничего, до свадьбы заживет. Ты впервой, что ли?

— Да...

— То-то, вижу, зеркало-то незнакомое. Ничего, ладно, — привыкнешь. Погляди сначала, как другие делают, да и сам тащи. Только не бей, а то ты будешь бить, а я отвечать.

Димка приободрился и стал во все глаза глядеть, как его товарищ ловко подцеплял щипцами блюдце за блюдцем и вихрем носился от плавильной печи к калильной и обратно, никого не задевая и искусно лавируя среди огненных шаров и закоптелых рабочих. Мало-по-малу он огляделся и стал кое-что соображать. Толстый рабочий ему понравился, и он желал ему угодить. Попробовал отнести одно блюдце сам и донес благополучно. Со вторым вышло не так удачно: на дороге он столкнулся с товарищем, тот его обругал, махнул щипцами и попал Димке в лоб. Но Димка уже не заревел, все его внимание было обращено на блюдце, которое он нес, и блюдце уцелело. Зато на лбу вздулся здоровенный волдырь, но Димке было не до волдыря.

Прошел час, а может быть и больше, с Димки пот так и валил, а он все таскал блюдца в калильню. Толстяк был мастер своего дела и пек блюдца, точно блины... К Димке подошел Митька и тихонько дернул его за рукав.

— Ну что, тебя к кому поставили? А, к толстому, который блюдца режет. Это Афанасий. Тебе хорошо, он добрый, никогда не дерется. А вот мой, вот злюка-то...

— А ты что делаешь?

— Я лампадки формую. Самое тяжелое дело, и мастер злой. Ему-то хочется побольше наделать, он стекло-то и сует зря в форму, а я иной раз не поспею за ним, вот заместо лампадки и выйдет комок. А он сердится и дерется.

В 12 часов завыл гудок, и рабочие разошлись обедать. Обед учеников прошел так же, как и вчера, с теми же щами и кашей. Но Димка был как в чаду и от усталости ничего не мог есть, а там опять завыл гудок, и надо было итти в гуту.

Наступил вечер. Рабочий день кончился. Димка стал втягиваться в новую жизнь. Вскоре он привык и сделался настоящим рабочим.

Перед праздником.

Был канун праздника. В типографии шла страшная суетня. Громче обыкновенного раздавались отрывистые слова, порывисто гремели машины, — словом, работа кипела. Люди спешили развязаться с обычным трудом. О празднике думал и приемщик Степка, худой тщедушный мальчуган со светлыми, подстриженными в скобку волосами и ласковыми серыми глазами. Он рассеянно поправлял листы, выбрасываемые шестерней скоропечатной машины, и, поглядывая на вертевшийся барабан, предвкушал близость свидания с родными и дорогой ему деревней. «Так бы вот, кажется, бросил все и полетел бы туда, к ним», думает Степка, досадуя, что время тянется так бесконечно долго.

Мастерская извела Степку. Вот уже два года, как он в Москве, но не привык к ней и считает месяцы и недели, когда снова может съездить на праздники к родным в деревню. Провожая его в Москву, мать наказывала, чтобы он зря жалованья не проживал, «потому дома нужда», и Степка понимал мать, понимал, что он один в доме «добышник», и расходовал только на баню. По праздникам Степка шел за городскую заставу к ближайшей деревне, садился где-нибудь на пригорке и долго смотрел на расстилавшиеся поля и синевшую вдали полоску леса, вспоминая свою деревню, свой лес.

Некоторые мальчики уже кончили. Рабочие обтирали керосином шестерни и винты, отчего распространялся удушливый запах. Дело кипело. Две запоздалые машины продолжали еще выкидывать листы, и стук их глухо отдавался в пустеющей типографии. Окончившие работу торжествуют и подтрунивают над запоздавшими.

— Эй, кашник, зашился! — трунит приемщик Ванька, подбегая к Степке. Перепачканное краской лицо Ванюшки дышит торжеством и весельем.

— Нешто это моя вина, — оправдывается Степка, — чай, не я работу распределял!

— Толкуй там! Вот посмотрим, как завтра вместо расчета тебя машины чистить пошлют, —не унимался Ванька.

— Уж так и машины чистить, — с затаенным страхом

проговорил Степка. — Чай, жалованье-то всем в одно время платить будут.

— Как не так! — осмеял Ванька предположение земляка. — Машины не вычистишь и деньги не получишь. Прощай тогда деревня! Поеду тогда я один и скажу твоей матери, что, мол, Степка только кашу скоро есть, а работает-то с прохладцей! Пусть она на тебя порадуется!

Нервы Степки натягивались. Ожидание становилось все тяжелей и тяжелей, а работе и конца не виделось. Мысль, что он опоздает к празднику, лезла в голову с назойливой беспощадностью.

«Надо обтереть хоть снаружи машину, — мелькнуло в голове Степки, — все меньше работы останется!» Он взял тряпку и стараясь, чтобы его не заметили, начал чистить снаружи барабана винты. «Надо и шестерню обтереть, — подумал он, — что ждать-то! Все равно!» Он зашел за маховое колесо сбоку и стал держать тряпку навстречу зубцам. «Вот и славно, — рассуждал он, — когда кончим, чистки-то будет уж не столько». Ему уже не так было страшно: чувство боязни сменилось верой в возможность попасть во-время на вокзал. Перед ним опять замелькали картины деревни: вот он приехал, его встречает мать. Отдавшись воспоминаниям, Степка не заметил, как развернувшуюся тряпку мало-по-малу забрало в шестерню. Он очнулся, когда тряпка наполовину была в машине и руку его сильно потянуло туда. «Батюшки, чего не сломать бы!» промелькнуло в его голове. Из всех сил он рванул тряпку и, бросив оторванное, ничего не соображая, как безумный, желая лишь удержать попавшее в машину, схватился пальцами за торчавший из шестерни клочок. Не успел он опомниться, как закричал от нестерпимой боли в руке.

Машину остановили, дали задний ход и пальцы его освободили из шестерни. Степка стоял весь бледный, в лице его не было ни кровинки, широко раскрытые глаза тупо смотрели на окровавленную руку, которой он махал, брызгая кровью. От испуга он не плакал, а как-то жалобно взвизгивал, и крупные слезы каплями катились по его щекам. Степку окружили рабочие. Они молча смотрели на него, кто с любопытством, кто с состраданием, покачивая головой.

— Вот-те и попал в деревню! — шептал побледневший, испугавшийся Ванюшка. — И чего торопился, словно бы не поспел.

А Степка стоял, весь дрожа, глотая слезы. Ноги отказывались держать его. Он опустился на кипы бумаги.

Машинист, нагнувшись, промывал его рану.

— Ну, счастье твое, разиня, — проговорил он, осматривая руку, — серьезного ничего нет, кости целы. Ложись в больницу, через неделю залечат.

— Нет, уж я лучше в деревню поеду, — просил Степка у машиниста. — А то матушка будет думать, что я совсем без руки остался, — убивался он.

— Ты, Степка, полоумный какой-то, — закричали окружавшие его рабочие. — Антонов огонь может быть. Без руки останешься.

— Да, как же в деревне-то подумают, и не весть что случилось. Да и деньги им надобны, — плакался мальчуган.

— Как, брат, хочешь, а в деревню я тебя не пущу, — строго проговорил машинист. — Деньги твои Ванька матери отдаст, а про тебя скажет, что работа задержала.

— Не пужай ты их, Ваня, не озорничай, — умоляюще обратился Степка к земляку, — пусть уж лучше не знают.

Ванька стоял потупившись.

— Ты не тужи, Степа, — глухо проговорил он, — болтать не буду. Хочешь, я сам не поеду в деревню, — вдруг решил он и радостно блеснул глазами. — Ты ложись в больницу, а я тебя навещать буду. А домой мы деньги пошлем и отпишем, что работа задержала, чтобы, значит, никакого сомнения не было.

Приходилось молчать.

...Помню, я стоял за тисками, когда позади меня раздался отчаянный нечеловеческий крик. Я быстро оглянулся и сам чуть было не вскрикнул. В трех шагах от меня лежал бородатый крупный человек и корчился от боли. От небольшого остатка руки горячим фонтаном била кровь. Кровь этого человека сочилась также с зубцов остановившейся машины. Под станком лежала оторванная рука с мертвой, посиневшей кистью.

У нас в памяти жил еще образ сгоревшего литейщика, и нервы у всех были натянуты. И когда в мастерской раздался крик рабочего, люди в безумном смятении бросились вон из мастерской. У места катастрофы собралось начальство: мастер и все старшие.

— Сам виноват: смотреть надо. На то и глаза даны... — торопливо проговорил мастер, не зная еще, в чем дело и как все это случилось.

— Он подавал мне резец, — рассказывал токарь, — протянул руку... А вот как его рука попала в зубы станка, и не заметил. Должно быть, блузу захватило.



Подневольный труд.

— Вот я же и говорю: сам виноват. Все они, эти серые черти, неосторожны. Эй, вы, ребята, снесите-ка его в лазарет. Я дам знать фельдшеру, — добавил мастер.

Пострадавшего подняли и вынесли из мастерской. Крики и стоны прекратились, а на том месте, где упал чернорабочий, стояла неподвижная лужа крови.

Кто-то нагнулся, полез под станок и вытащил оторванную руку, на которой висели клочья синей блузы. На лице того, кто это сделал, были написаны ужас и отвращение. И когда он уносил раздробленную и изуродованную руку из мастерской, его пошатывало.

— Сам виноват... Глаза даны для того, чтобы смотреть

ими, — чуть ли не в десятый раз повторял мастер, у которого, повидимому, совесть была не на месте.

— Нет-с, извините, он не виноват, — вдруг неожиданно проговорил Арсений Глыбов, и карие глаза его сверкнули, как молнии.

Мастер от удивления отступил даже шаг назад и уставился рыбьими глазами на Глыбова. Он был до того поражен неслыханной дерзостью, что в первое мгновенье не нашел, что сказать. В те времена рабочие еще не разговаривали и безропотно переносили все обиды и невзгоды жизни.

— А кто же, по-твоему, виноват? — с трудом выговаривая слова, спросил мастер.

Видно было, как мастера душила злоба и как постепенно багровел его жирный короткий затылок.

— Виноват завод, — отчеканил Глыбов и медленно прошелся глазами по круглому, одутловатому лицу мастера.

— Почему завод? — почти шопотом спросил Матвей Иваныч и сделал шаг вперед.

— Потому завод виноват, что футляров нет перед машинами. Завод человеческую жизнь ни во что ставит. Сегодня вы сожрали двух человек и ни одним не подавились. Так будьте же трижды прокляты!

Я не узнал Глыбова: он весь преобразился. Высокий, стройный, с высоко поднятой пилой в руке, он говорил громким, звучным голосом.

— Вы рабовладельцы! У вас заглохли совесть и жалость. Мы, рабочие, создаем вам вашу сытую жизнь, мы обогащаем вас, мы куем своими руками счастье и радость, которые вы целиком вырываете у нас, а нам оставляете одно горе, нужду и увечья. Но погодите, придет день и...

— Довольно! — изо всей силы гаркнул мастер. — Довольно, смутьян!.. Я покажу тебе, рыжему чорту... Марш в контору за расчетом!.. Сдавай инструменты.

Мастер топал ногами, ругался скверными словами, и лицо его налилось кровью. Я был уверен, что с этим маленьким толстяком случится припадок.

Через полчаса Глыбова не стало на заводе. Из девятисот человек нашей мастерской никто звука не проронил по поводу случившегося. Рабский страх сковал уста, и все безмолвствовали...

„Вольный рабочий“.

Улицей узкою, шумной и бедной
Шел, опустив воспаленные очи,
В грязных лохмотьях, дрожащий и бледный,
«Вольный рабочий»...
Вольный! Он может, где хочет, скитаться,
Может бродить он по улицам шумным,
Может он плакать и может смеяться
Смехом безумным.
Может стучаться он в каждые двери:
Голода муки никто не заметит, —
Сытые люди бездушны, как звери,
Смех лишь он встретит.
С горьким проклятьем и жгучим укором
Может замерзнуть он ночью холодной,
Иль умереть где-нибудь под забором
Смертью голодной.
Что же он стал? Иль себя он боится?
Дико глядят воспаленные очи...
Что ему нужно? Ведь волен, как птица,
«Вольный рабочий».

Бесправие рабочего.

Около меня сидит молодой рабочий Ардашев. Он пришел на костылях. Правая нога парня отрезана до колена и обмотана белой, еще совершенно свежей марлей.

Три месяца назад Ардашев приехал впервые из деревни в город и сразу же поступил на электрический завод чернорабочим. В первый же день работы ему вместе с другими товарищами пришлось перетаскивать в мастерской на вальках чугунную колонну, весившую около 500 пудов. Ее тащили за привязанные канаты. Команды никакой не было, дубинушки не пели, стоял шум, гам, — трудно было что-нибудь разобрать... Оказалось, что колонну неправильно подкатили: валик не попал в пролет дверей и зацепил за косяк. Кто-то крикнул: назад! Десятки руки схватились за колонну и дернули ее обратно. Ардашев ничего не расслышал и остановился около колонны. Валик накатился на

его ногу. Ардашев упал. Пятисотпудовая колонна проехала по ноге, раздробила на ней кости!..

— За 80 копеек ногу отдал, — говорит он дрожащим голосом, — один только день поработал, а ноги нет. Предлагали мне копать огород, 60 копеек тоже поденно давали, а на заводе 80 можно взять. Думаю: коня нам надо купить — на заводе скорее... За 20 копеек ногу свою я продал, пущай бы на огород не предлагали!.. Ходил сегодня на завод... «Ничего мы тебе не дадим, — отвечают, — ты команды не слышал — сам виноват, и перед нами ничем не заслужил — всего один день работал»... И как подумаю, барин, что свою ногу я за 20 копеек продал, так мне тошно, холодно станет... Двадцать копеек!..

Старый рабочий.

Выкинут... выброшен... больше не годен...
Слабы глаза, да и сам весь ослаб...
Мочи нет, высох, как щепка... Свободен!.
Больше не раб!..
Руки повисли, мозолисты, грубы...
Стал у стены и поник сединой...
Тяжко дышали фабричные трубы
В свод голубой...
С грохотом молоты в грудь наковален
Бились, дрожала от гула стена.
Что ж ты так хмур, так угрюм и печален?..
Эй, старина!..
Впала и высохла грудь от работы,
Бед испытать ей немало пришлось...
Пережил сына: труда и работы
Бедный не снес...
Честно работал с утра и до ночи...
Силы не стало в тяжелые дни...
Выкинут... выброшен старый рабочий!..
Что ж, отдохни!..
Что ты задумался?.. Мутной слезою
Старческий взор затуманился... Миг.
Тянутся руки к прохожим с мольбою.
Что ты!!?.. Старик?!!

II.

ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ.



Пролетарий.

Крепкие руки, хлеб да вода,
С скарбом убогим мешок неизменный,—
Вот он, творец мирового труда
И гражданин всей вселенной!..
С этим именьем он версты идет,
Ночи несется в вагоне трясучем,
Через моря, океаны плывет
С пламенем в сердце могучем.
Может быть, в вечном пути за трудом
Жить на чужбине ему приведется,
Станет родимым скитальческий дом,
Родиной даль назовется...
В шахтах, заводах чужих городов
Грезы о детстве растают без цели...
И не увидит во веки он вновь
Места своей колыбели!..
К грозным лишеньям готовый всегда,
С силой, в могучих руках неизменной, —
Вот он, создатель земного труда —
Первый плебей во вселенной...

Как у нас начали свою борьбу рабочие.

Тяжело жилось рабочим в прежнее время. Пока было крепостное право, на фабриках и заводах работали крепостные, которых силою сгоняли из деревень. Жили они у своих хозяев на положении рабочего скота. Работали до изнемо-

жения, по 16—17 часов в сутки, питаясь впроголодь, и спали в грязных казармах, на сыром, заплеванном полу без подстилки.

С отменой крепостного права рабочие сделались вольными людьми, но от этой свободы выиграли только капиталисты и фабриканты. Как же это произошло? Очень просто. Крепостного человека фабрикант-помещик не мог прогнать с фабрики и заменить его другим человеком, превратив его в своего крепостного. Своих крепостных можно было заставлять работать только силою, а только силою много не сделаешь: крепостные рабочие работали плохо, вырабатывали мало, и фабрикантам это было невыгодно. Много лучше стало фабрикантам после отмены крепостного права. Каждого рабочего, который им не нравился, они могли уволить в любое время, а заменить его другим стало легко. Разорившиеся, отпущенные на волю почти без земли крестьяне тысячами шли в города и с голода готовы были работать на каких-угодно условиях, за самую ничтожную плату. Таким образом жизнь рабочих после отмены крепостного права не улучшилась. Зарабатывали они так мало, что едва хватало на самое бедное существование. Да и из этого скудного заработка с них высчитывали за каждый пропущенный день, хотя бы рабочий пропустил его по болезни; за всякий пустяк налагали большие штрафы, а больным не оказывали почти никакой помощи, и надорвавших на работе свое здоровье увольняли на все четыре стороны.

Но хуже всего было то, что рабочие жили в беспросветной тьме, ничему не учились, ничего не знали. А царское правительство было заодно с фабрикантами и не только не старалось просветить рабочих, но, наоборот, всеми мерами препятствовало их образованию, потому что знало, что так безропотно могут покоряться только темные, бессознательные люди.

Однако как ни терпели рабочие всякие притеснения, но вытерпеть до конца нехватило сил. То здесь, то там вспыхивали рабочие восстания. Темная рабочая масса, не понимавшая настоящих причин своего тяжелого положения, часто громила фабричные здания и разрушала машины. Эти рабочие восстания были беспорядочны, неорганизованны: все действовали вразброд, поодиночке, и фабриканту было легко,

подговорив одних, застращав и уволив со службы других, держать рабочих в своих руках.

Как, однако, ни старались правительство и фабриканты прибрать рабочих к своим рукам и закабалить их, жизнь делала свое дело. С исчезновением крепостного права заводы и фабрики стали быстро расти и объединять большие массы трудящихся — пролетариев. Среди рабочих начали появляться сознательные люди, которые хорошо понимали причину тяжелого положения рабочих. Эти сознательные рабочие вели пропаганду среди остальных рабочих и учили других, как им следует бороться против угнетателей.

Примерно, с 1870 года среди рабочих начинаются организованные забастовки, или стачки. Сговорятся заранее, как действовать сообща, да всем скопом и бросят работу. И если рабочим удавалось дружно стоять один за другого, то хозяину волей-неволей приходилось уступать: ведь остановка работы на фабрике или заводе очень невыгодна хозяевам.

Царское правительство арестовывало наиболее сознательных забастовщиков, сажало их по тюрьмам, расстреливало или же ссылало в далекую Сибирь. Но, несмотря на это, забастовок становилось с каждым годом все больше и больше. Такими забастовками, или стачками, рабочие начали добиваться кое-каких успехов. Главное же, организованные забастовки научили рабочих действовать дружно и сообща.

Ткач Петр Алексеев.

В 1849 году в деревне Новинской, Смоленской губернии, родился мальчик Петр Алексеев. Земля в тех краях была скудная и не могла прокормить крестьян; крестьяне жили бедно, ребенок был лишним ртом в семье, и крестьянских ребят, чуть подрастали, целыми партиями отвозили в город на заработки и там отдавали на фабрики и заводы. Маленького Петруху тоже отправили в Москву и определили на ткацкую фабрику.

Тяжело жилось Петрухе на фабрике. В то время, как дети богатых знали только игры, учение и ласку, Петруха узнал тяжелую жизнь рабочего. Работал он на фабрике до изнеможения по 16 — 17 часов в день, жил в грязных казармах, спал на сыром полу без подстилки, а зарабатывал

так мало, что едва хватало на самое бедное существование, да из этих грошей ему приходилось посылать в деревню своим родным. К тому же мелкое и крупное фабричное начальство издевалось над ним, угощая за каждые мелочные ошибки пинками и подзатыльниками.

Но Петруха не был похож на других. У него была такая голова, что до всего допытывалась, и сердце у него было горячее.

Прошло несколько лет. Петруха вырос, сам, почти без посторонней помощи, выучился грамоте и стал внимательно присматриваться к жизни вокруг себя, наблюдать, думать, читать.

Он чувствовал, что жизнь устроена неладно, и стал задумываться над положением рабочего.

Вот какие мысли приходили Петрухе в голову:

Отчего это тысячи людей работают с рассвета до поздней ночи на ткацких фабриках, выделывают дорогие красивые ткани, а сами носят такое рубище?

Отчего рабочие строят высокие, светлые дома, но сами живут в темных и душных казармах? Отчего они до изнурения работают на бойнях, в пекарнях, на конфетных фабриках, вырабатывают обильную и вкусную пищу, а сами едят черствый черный хлеб? И что за оказия, думал Петруха, богачи, которых гораздо меньше, чем рабочего люда, живут в праздности, в роскоши и поедают и пользуются всем, что сработали рабочие. Однако ответа на эти вопросы он сам не находил.

В этом ему помогли революционеры.

Они поступали на фабрики простыми рабочими. Там они делили с рабочими всю участь их: тоже работали до изнурения, спали на грязном полу, ели впроголодь, терпели обиды. И потихоньку от фабричного начальства, в ночные часы или за работой урывками, они делились с рабочими своими знаниями и заставляли рабочих задумываться над своей жизнью. Они словно бросали искры здесь и там и раздували эти искры, чтобы из них разгоралось пламя.

Рабочие были темные, забитые, и часто искры потухали, не разгораясь, словно попадали на сырое место. Но у таких рабочих, как Петруха, они зажигали целый пожар. Петруха нашел, наконец, ответ на все мучившие его вопросы, он учил-

ся, читал, все больше разгоралось в нем сердце, и скоро он сам стал горячим революционером.

На многих фабриках работал Петр ткачом и всюду, потихоньку от начальства, он учил рабочих соединяться вместе и готовиться к восстанию. Число рабочих-революционеров все росло и росло. Но не дремала и царская власть. Она хуже огня боялась сознательных рабочих и повсюду на фабриках ставила шпионов, которые подслушивали и подглядывали за всем, что делается среди рабочих. Долго они не могли поймать Петруху, который действовал хотя и смело, но осторожно.

Но, наконец, им это удалось.

Однажды Петр Алексеев попался, был арестован с восемью революционерами и до суда посажен в тюрьму. Там он просидел два года. За это время он много читал, многому учился, много думал и еще больше укрепился в своей ненависти к врагу рабочего класса и еще больше стремился к борьбе с ним. Наконец, был назначен суд. Всех подсудимых было пятьдесят человек.

Каждый подсудимый на суде имел право сказать что-нибудь в свою защиту. Петрухе тоже, конечно, разрешили сказать защитительное слово, и если бы он притворился темным, бессознательным рабочим, его судили бы легко, потому что на него не обратили бы большого внимания. Но Петр не захотел скрывать своей революционной веры, он не оправдывался перед судьями и не просил пощады, а сам горячо обвинял своих угнетателей.

Он говорил о том, в каких тяжелых условиях приходится жить с малолетства миллионам рабочих, говорил, что такая тяжелая жизнь не дает возможности рабочим развивать свой ум. Затем Петр рассказал, как рабочих преследуют, если они требуют надбавки жалованья, и ссылают за это в Сибирь, и если они не в силах терпеть, бросают работу, их называют бунтовщиками, и полицейские приходят к хозяевам на помощь и кулаками заставляют вернуться к работе. Указал Петр и на то, что для облегчения своего положения рабочие надеются только на себя: помощи им ждать не от кого.

Председатель прерывал несколько раз речь Петра, заставляя его молчать, но Петр открыто и смело продолжал свою речь и закончил ее словами: «И ярмо деспотизма, огражден-

ное солдатскими штыками, разлетится впрах». Никогда еще царским судьям не приходилось слышать из уст рабочего таких речей.

И судьи, и жандармы, и публика словно окаменели, слушая ее.

Но судьи скоро пришли в себя. Петруху осудили и приговорили к десяти годам каторжных работ. Дорого заплатил Петр за правду, сказанную громко, на всю Россию. С тех пор прошло почти пятьдесят лет (речь была произнесена в 1877 году), но и теперь сердце закипает болью за рабочего и злобой против его угнетателей, когда мы ее читаем. Но речь его сделала свое дело. Другие революционеры напечатали его речь в тысяче листков и тайно распространили ее среди рабочих Ленинграда (тогда еще Петербурга), Москвы и других городов.

Она повсюду производила потрясающее впечатление.

Умер Петруха в Сибири. После отбытия каторжных работ его сослали в пустынный далекий улус (деревня в Сибири).

Однажды, когда он ехал из деревни в город, его по дороге убили якуты, жители той стороны, с целью грабежа.

Видели вы, товарищи, когда-нибудь сеятеля за работой? Он взрыхляет землю и бросает в нее полные горсти семян.

Проходит время, и из семян вырастает густой колосистый хлеб.

Петруха был из первых сеятелей — он сеял семена революции, а какой хлеб вырос из этих семян, вы уже сами знаете.

Халтурин в Зимнем дворце.

5 февраля 1880 г., около 6 час. вечера, из главных ворот Зимнего дворца, после произведенного там легкого поверхностного обыска, вышел один из низших служащих и зашагал через Дворцовую площадь по направлению к Александровской колонне. Из тени последней выделился навстречу ему другой человек.

— Готово, — отрывисто произнес первый, и как бы в подтверждение этой фразы сильный взрыв потряс всю площадь и далеким эхом отозвался за покрытой ледяною корою Невой.

Потухло освещение в Зимнем дворце, блестящий, горев-

ший тысячами огней фасад потускнел, потемнел, слился с царившей над городом мглою.

В только что убираемой с такою заботой столовой мебель была раскидана, на полу зияло несколько отверстий, а в дверях, судорожно ухватившись за притолоку, с искаженным от страха лицом и открытым ртом стоял самодержец России, еще раз случайно избегнувший рокового конца.

Взрыв Зимнего дворца 5 февраля 1880 г. не достиг своей цели — пострадал только бывший в тот день караул Финляндского полка: 11 человек солдат были убиты, 56 ранены.

Вышедший из дворца человек был Степан Халтурин, устроитель взрыва; его встретил Андрей Желябов, руководивший этим делом.



С. Халтурин.

Осенью 1879 г. в двовцовые столяры, по рекомендации одного из служителей, был принят Степан Батюшков, крестьянин Олонецкой губ.

Обычное испытание Батюшков выдержал с честью и был зачислен в штат дворцовых столяров, и, как таковому, ему полагалось пользоваться квартирой.

Квартира отводилась в подвальном этаже, — чуть ли не в уровень с землею были пробиты в саженных толщиною стенах полукруглые окна, защищенные массивною чугунною решеткой; мало света проникало в этот подвал. Сыростью, затхлостью несло из углов темного подвала, но начальство полагало, что это жилье вполне подходит для мастерового человека, к тому же ведь в своей комнате он только спит — другое время он проводит в мастерской, где света и тепла достаточно. В один из углов такого подвала поставили деревянную кровать, около которой, в углу капитальных стен, Степан Батюшков уместил свой очень большой деревянный сундук.

— И куда ты такую махину припер? — смеялись над Степаном товарищи. — У самого один рваный зипун, а в сундук чуть ли не всю гардеробную поместить можно.

— Ничего, — отвечал Степан, — на царской работе разбогатею, а сундук уж больно хорош и крепок, укладист.

И началась жизнь регулярная, правильная, один день точно капля воды походил на другой: работа в мастерских или даже в самых царских покоях. Раз не успели убрать Степана из кабинета, и в то время, как он усердно лакировал какую-то ножку, в кабинет вошел сам император: пришлось Степану задом пятиться к двери, чтобы убраться и не мешать самодержцу.

По праздникам да и после работы Степан частенько уходил в город, но возвращался в «аккурате», без винного запаха и подозрительной походки, — словом, ни в чем не могли заметить этого нового столяра ни его товарищи, ни надзиравший за ними старик вахтер.

А время было тревожное. У одного из революционеров при обыске был найден план Зимнего дворца, личных комнат императора Александра II, и на этом плане там, где помещалась столовая, был поставлен крест. Что означал этот крест, не могли решить ни жандармы, ни полиция, ни судейские. Под столовой находилась гауптвахта, а под нею подвал, где жили столяры. Были сделаны обыски, обшарили везде и повсюду и ничего не нашли. Обыск делали ночью, и Степан Батюшков и тут свою деревенщину ярко обнаружил: когда жандармский полковник, производивший обыск, задал ему какой-то вопрос, Степан так и остался сидеть на постели с разинутым ртом и выпученными глазами.

— Деревня деревней и останется, — рассуждал жандарм, поселенный в одной комнате со столярами. Он почувствовал к Батюшкову особенную симпатию и все обучал его благородному обхождению.

— Ну, что ты все руки в затылок тычешь, — выговаривал он, — с тобою господин полковник говорят, а ты руки в затылок. Эх ты, деревня. Нужно, братец ты мой, по-благородному.

Под именем Степана Батюшкова в царском дворце в течение полугода прожил Степан Николаевич Халтурин, рабочий, один из выдающихся народовольцев, основатель Северно-русского рабочего союза. Пошел он на это место с целью взорвать царский дворец вместе с царем.

И в течение 5 месяцев готовил Халтурин в помещении

царских столяров мину: для этого нужно было с воли тайком приносить небольшими порциями, ради постоянных обысков при входе во дворец, динамит и сохранять его в своем помещении.

Первое время Халтурин прятал динамит в подушку, на которой спал; ядовитые пары, которые выделялись из динамита, отравляли Халтурина, и у него были постоянные тяжелые головные боли, но это его не останавливало; когда же динамита набралось более пуда, то Халтурин его переложил в свой сундук. В сундуке находился динамит, капсюля, соединенная со шнуром. Халтурин в день взрыва зажег шнур и ушел из подвала, шнур должен был гореть столько времени, чтобы взрыв произошел в 6 час. вечера, когда царь садился за стол.

Всей работой Халтурина сперва руководил Квятковский, а после его ареста — Желябов, который доставлял Халтурину динамит. Мина была уже готова, но не подвертывался подходящий случай взорвать ее, и несколько раз вечерами Желябов при мимолетной встрече с Халтуриным слышал, как тот бросал ему отрывисто: «Сегодня нельзя»... «Опять незадача» и т. д., пока, наконец, 5 февраля 1880 года Халтурин не произнес «Готово!»...

Царь убит.

(Прокламация, изданная после убийства Александра II [1]).

Царь убит!

Не в первый раз поднимают руку на царя. Хотели убить его крестьяне Тихонов, Ширяев, рабочие Халтурин и Пресняков, бывший народный учитель Соловьев и другие.

За что же убили царя? Ведь он освободил крестьян от помещиков?

Да. Дал царь мужику землю, да так пригнал, что пришлось на душу без малого что по одной ступне, а более поло-

---

1) Эта прокламация написана более 40 лет назад. Кто же ее мог написать? Ее написали борцы за народную волю, революционеры, боровшиеся за лучшую жизнь трудового народа при царе Александре II. Все они поплатились либо жизнью, либо каторжными работами в Сибири, потому что за ними не стояла и их не поддерживала масса трудового народа.

вины кровной мужицкой земли отдали барам. Дал мужику он и волю самую настоящую: волю с голоду помирать, волю итти в кабалу к барам, купцам, своему брату кулаку; волю урядникам да чиновникам костылять шею мужичью.

Подивился мужик воле, которую дал ему царь-батюшка; подивился, пораскинул умом, да и порешил: баре де с чиновниками волю подменили, не настоящую, не царскую волю объявили... Где же это видано, что мужичью землю, его потом-кровью политую, в руки барам отдали!

И послал мужик ходоков к царю разузнать волю доподлинно. Точно разузнали: кто в Сибирь пошел, кого по этапу домой прислали!

Вот и узнали они волю настоящую!! Неужли ж чиновники ходоков мужичьих без ведома царского в Сибирь посылали?!! Неужли ж у царя случая не было мужиков повидать?! Коли баре к мужику его не пускали, так видал же он солдат; а солдат тот же мужик!

Нет! Сам царь в 1879 году велел объявить мужикам, что земли им не будет!

Сам-то царь — над барами барин, купец над купцами, мироед над мироедами, чиновник над чиновниками.

Нашлись на Руси люди, что говорили народу, как раздобыться ему настоящей мужицкой волюшки... Да, видно, правда-то царю с барами не по нутру пришлась: стали они тех людей по тюрьмам морить, ссылать без счету в Сибирь на каторгу, вешать да расстреливать. Вот за эти-то жестокости да за то, что царь народ обманул, и убили они царя.

От нового царя тоже не дождаться тебе ничего хорошего! Не отберет он у бар земли и не даст мужику, настоящей воли не даст! Не обидит себя да свою панскую братию! Барина, чиновника подарить — это он может. Вот старый-то царь своим братьям, великим князьям, да чиновникам, да господам разным и барыням разным из твоей земли два миллиона десятин раздарил; а у мужика нет как нет земли!..

Коли хочешь ЗЕМЛИ да ВОЛИ, так силой бери!..

Только за дело это надо всем сразу взяться: послать ходоков по всей земле русской, от села к селу, от деревни к деревне, и в городах к рабочим. Чтобы волю добыть, надо

всем сговориться. Народ — сила: что захочет, то и будет.

Первое дело — забрать свою землю, податей царю не платить и рекрутов не давать!

Пусть сядет он, как рак на мели! Тогда с барами своими вместе против мужиков ничего не поделает!

Стой крепко друг за дружку, жизни не жалеючи!.. Не придется тогда никому лебеду да кору жевать, да по миру ходить! Добивайся, мужик, правды мужичьей, земли своей, воли настоящей!

Станем же все, как один человек, за правду, за

ЗЕМЛЮ и ВОЛЮ!!



Арест агитатора. (С карт. Репина.)

Рассказ рабочего П. А. Моисеенка о морозовской стачке 1885 года.

Стало быть, в 1884 году было, вот уже четвертый год тому пошел. Работал я в Орехово-Зуеве на Морозовской м-ре, порядки были строгие, душили штрафами. Мимо директорских окон в шапке пройдешь — штраф; в казарме громко заговорил — штраф; по улице Орехова-Зуева с песней или гармошкой пройдем — штраф. Ну, мочи нету, хоть прямо ложись да помирай.

А обсчитывали, а обвешивали при выдаче и приемке, а рабочий день был — по 16, по 17 часов работали, а ежели чуть заболел, — на улицу, как собаку; рабочий народ на положении был хуже зверя, хуже псов... Вспомнишь, так жутко.

А на фабрике работал народ темный, сплошь безграмотный. И все корпуса, вся фабрика кишела сыщиками и полицейскими. С горя, с неустанной работы, с этой собачьей жизни пили страсть — все пропивали. Ну, работать с таким народом уже очень тяжело было, почти невозможно; а нас было двое политиков — я да покойный Волков. Ну, на всякие хитрости пускались. Или прямо ведем пропаганду в казармах, или на фабрике соберутся в сортире курить, набьется народу — вонь, дым, темь — не продохнешь... А мы с Волковым возьмем по газете, какую попало, хоть черносотенскую, хоть прошлогоднюю, держишь перед собой иной раз кверху ногами, — все одно не видать! — и будто читаешь по ней, а на самом деле свое из головы тачаешь: «Доколе же, мол, вы будете терпеть эту каторгу? Ведь, мол, хозяин опился нашей крови, лопнет скоро; не бараны же мы, которых только свежуют». И пойдешь чесать, аж за ушами звенит. Ну, все стоят, затая дух, слушают и только удивляются: как здорово нонче в газетах стали писать — как это цензура терпит, — вот времена пришли!.. «И как это ты, Анисимыч, в темноте такой разбираешь буквы. Котиные у тебя глаза!» А где тут разбираешь, коли кверху ногами держишь! Ну, так вот их и начиняешь, как колбасу, покуда не придет мастер да не повыгоняет всех.

Началась у нас стачка. 8.000 человек бросили работу, как один. Красильщикам, которые было заартачились, повыбили окна, кого и помяли; мастера разбежались, фабрика стала. Сейчас же понаехало начальство, губернатор, пригнали солдат, казаков, — и пошла писать губерния. Рабочие распалились в одну душу: «разнесем фабрику, и шабаш!..»

У нас с Волковым вся забота была, чтобы не допустить до погрома, а возможно дольше выдержать стачку. Говорить-то уж очень трудно было; чуть соберется кучка, — бегут солдаты, казаки — и в нагайки, и в приклады.

Раз как-то налетели казаки, отрезали от толпы человек сто и заперли в столовую, а у дверей поставили солдат

с заряженными ружьями. Вижу — надо добывать этих ребят, а то плохое впечатление на рабочих этот арест произведет, погнутся духом. А тут бегут ко мне наши фабричные ребятишки, — они у меня заместо адъютантов были, — и шепчут: «дяденька, с этой стороны караула нету». Обежали мы кругом, — верно, караула нету, ну, только двери заперты, а двери тяжелые — дубовые. Попробовал я было плечом, куда тебе. Опять ребятишки кричат: «дяденька, во скамейка, — скамейкой»!..

Скамейка стояла длинная, на которой обедали. Подняли мы с ребятишками скамейку, раскачали на руках, да как двинем, так дверь и разлетелась; ребятишки закричали «ура!», а арестованные стали выскакивать. Гляжу, бегут все рабочие сюда и солдаты, и кинулись солдаты колоть рабочих... У меня аж в глазах помутилось — польется кровь... Кинулся я к солдатам, как закричу не своим голосом: «Как, своих колоть!.. Своих колоть!»...

А солдат размахнулся, да прямо мне в грудь штыком. Я в полушубке был, успел ухватиться за штык, вырвал у него ружье, да об лед, — приклад и разлетелся, оттолкнул солдата и опять заревел не своим голосом: «братьев своих колоть!»

От моего реву и солдатье попятилось. Так я проделал между ними такой проход и все ходил и приговаривал: «не трожьте, братцы, друг дружку, вы братья ведь кровные».

Вечером стал раздеваться в казарме, смотрю, — рубашка у меня на груди, как лубок, Э-э, да это он меня штыком. И рана запеклась, и на рубашке кровь запеклась, а ведь тогда, как кольнул он меня, я и не чуял.

В день первого мая.

(Прежде.)

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин и вздохи фабрики,

За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек в сто, и в глубине ее раздавался голос:

— Из вас жмут кровь, как из клюквы, — падали на головы людей неуклюжие слова.

— Верно, — ответило несколько голосов сразу гулким звуком.

— Старается хлопец, — сказал хохол. — А ну, пойду помогу ему.

Он изогнулся и ввернул в толпу, как штопор в пробку, свое длинное, гибкое тело. Раздался его певучий голос.

— Товарищи, говорят, на земле разные народы живут — евреи и немцы, англичане и татары. А я в это не верю. Есть только два народа, два племени — богатые и бедные. Люди разно одеваются и разно говорят, а поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим народом, так и увидите, что все они для рабочего — башибузуки, кость им в горло...

В толпе рассмеялись.

— А с другого бока взглянем, так увидим, что и француз рабочий, и татарин, и турок такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русские, рабочий народ.

С улицы все больше подходило народа, и один за другим люди, молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались в переулок.

— За границей рабочие уже поняли эту простую истину, и сегодня, в светлый день первого мая...

— Полиция, — крикнул кто-то.

С улицы в переулок прямо на людей ехали, помахивая плетками, двое конных полицейских и кричали:

— Разойдись!

— Какие тут разговоры!

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы. Звучали насмешки.

— Посадили поросят на лошадей, а они хрюкают: вот и мы воеводы! — кричал чей-то звонкий задорный голос.

Хохол остался один посредине переулка, на него, мотая головами, наступали две лошади...

Вышли на площадь, среди которой стояла церковь. Вокруг нее, в церковной ограде, густо стоял и сидел народ,

здесь было сотен пять веселой молодежи, озабоченных женщин и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удальством.

Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досадой отвертывались от них, порою раздавалось негромкое ругательство.

— Митенька, — тихо дрожал женский голос. — Пожалей себя.

— Отстань, — прозвенело в ответ.

А степенный голос говорил спокойно, убедительно:

— Нет, нам молодых бросать не надо. Они стали разумнее нас, они живут смелее. Их за это по тюрьмам таскали, — а выиграли от того все.

Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лиц побледнело.

— Товарищи! — раздался голос, звучный и крепкий. — Братья! Вот пришел час нашего отречения от этой жизни, полной жадности, злобы и тьмы, от этой жизни насилия над людьми, от жизни, в которой нет нам места, где мы — не люди... Товарищи! Мы решили открыто заявить сегодня, кто мы, мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы.

Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми кверху лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа.

— Да здравствует рабочий народ, — крикнул кто-то.

Сотни голосов отозвались гулким криком.

— Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша партия, товарищи!

Толпа кипела, сквозь нее пробивались к знамени те, кто понял его значение.

— Да здравствуют рабочие люди всех стран! — И, все увеличиваясь в силе и в радости, ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком...

— Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу;

те, которым не видна наша цель, пусть не идут с нами, таких ждет только горе. В ряды, товарищи! Да здравствует праздник свободных людей!

Толпа слилась плотнее. Красное знамя распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь.

«Отречемся от старого мира...», раздался звонкий голос, и десятки голосов подхватили:

«Отрясем его прах с наших ног...»

И народ бежал навстречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой, шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни, — той песни, которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой.

«Мы пойдем к нашим страждущим братьям...», лилась песня. Все заглядывали вперед, где качалось и реяло в воздухе красное знамя...

В конце улицы, закрывая выход на площадь, стояла низкая, серая стена однообразных людей без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко блестели острые полоски штыков. И от всей этой стены, молчаливой, неподвижной, на рабочих веяло холодом, он упирался в грудь и проникал в сердце.

Но в воздухе медленно задрожал светлый голос:

«Вы жертвою пали»... — запел он.

«В борьбе роковой»... — двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперед, дробно ударив ногами землю. И потекла новая песня...

«Вы отдали все, что могли, за него», яркой лентой взвился голос...

«За свободу», дружно пели товарищи.

— Ага-а, — злорадно крикнул кто-то в стороне. — Панихиду запели, собачьи дети.

— Бей его, — раздался гневный возглас.

«Падет произвол», пророчила песня.

«И восстанет народ», уверенно и грозно вторил хор сильных голосов.

Но сквозь стройное течение ее прорывались тихие слова:

— Командует...

— На руку... — раздался резкий крик впереди.

В воздухе извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись навстречу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-арш!

— Пошли, — сказал кривой и, сунув руки в карманы, широко шагнул в сторону.

Серая волна солдат колыхнулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя редкий гребень серебристо сверкавших зубьев стали.

— Ра-азойтись, — тонким голосом кричал молоденький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, задорно стучал подошвами о землю. В глаза бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шел рослый бритый человек с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с желтыми лампасами на широких штанах.

Все ближе сдвигались люди красного знамени и плотная цепь серых людей; ясно были видны лица солдат.

Песня погасла. Люди остановились. Наступило молчание.

Под знаменем стояло человек двадцать, не более, но они стояли твердо, притягивая к себе чувством страха за них и смутным желанием что-то сказать им.

— Возьмите, поручик, это, — раздался голос высокого старика.

Протянув руку, он указал на знамя.

К державшему знамя подскочил маленький человек, схватил рукой за древко, визгливо крикнул:

— Брось!

— Прочь руки, — громко сказал рабочий, державший знамя.

Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо, — офицерик отскочил, сел на землю.

— Взять их, — рявкнул старик, топнув в землю ногой.

Несколько солдат выскочили вперед. Один из них взмахнул прикладом — знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло в серой куче солдат.



9-е января 1905 г.

Ко дворцу.

...Толпа напоминала осенний, темный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури; она текла вперед медленно.

Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие серые птицы.

Говорили негромко, серьезно, как бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

— Разве «он»[1]) это не поймет?..

Больше всего говорили о «нем», убеждали друг друга, что «он» — добрый, сердечный и — поймет, все поймет... Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о «нем» никогда не думали серьезно, не представляли его себе и даже плохо понимали, зачем «он» и что может сделать?

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздраженными всплесками криков толпы:

---

[1]) Т.-е. царь Николай II.

— Мы желаем открыто...

— Ты, брат, молчи!

— К тому же отец Гапон...

— Он знает, как надо...

День был такой же пестрый, как настроение толпы. На небе, между серых облаков, являлось солнце, освещало лица холодным блеском и исчезало вновь.

Переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла. Слышались разговоры:

— Мы тоже люди, как-никак...

— «Он», чай, поймет, — мы просим...

— Должен понять!.. Не бунтуем...

— Опять же отец Гапон...

— Товарищи, свободу не просят...

— Ах, господи!

— Только бы допустили нас...

— Да погоди ты, брат!..

— Гоните его прочь, дьявола!..

— Отец Гапон лучше знает, как...

Лица загорались, глаза сверкали ярче, ускорялся шаг, быстрота движения тела еще больше волновала душу. Все увеличивалась масса толпы, на улице стало теплее, голоса звучали с большей силой.

— Не надо нам красных флагов! — кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

— Мы к отцу идем!..

— Так!

— Верим ему!..

— Не даст в обиду!

— Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи! — упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.

— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.

Толпа, опьяняясь своим настроением, обрадованная тем, что, наконец, пришло оно и крепко обняло ее, ворчала:

— Не надо!..

— «Он» поймет...

— Вот человек, ах ты...

— Ежели до него допустят...

— Смутьяны, черти!..

— Отец Гапон — с крестом, а он — с флагом.

— Молодой еще, но тоже, чтобы командовать...

— Мы желаем мирно!

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно и тревожно кричали:

— Гони его с флагом!..

Когда толпа вылилась из улицы на берег реки к Троицкому мосту и увидела перед собою длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост, — людей не остановила эта тонкая серая изгородь. В фигурах солдат не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели темный дом — там ждал их «он», хозяин дома. Народ думал, что «он» не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали до него народ, который его любит и желает мирно говорить с ним о своих нуждах.

Но все-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в стороны, все старались показать друг другу, что о солдатах они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали, другие улыбались. Чей-то голос, соболезнуя, произнес:

— Холодно солдатам!..

— Н-да-а...

— А надо стоять!

— Солдаты — для порядка.

— Спокойно, ребята!.. Смирно!..

— Иди, иди!..

— Ура, солдаты! — крикнул кто-то.

Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал навстречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

— Чего это они? — спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем как-то вдруг стало трудно итти.

— Назад! — донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулись — позади их стояла плот-

ная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей, толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышли вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:

— Мы — к государю нашему...

— Вполне спокойно!..

— Назад. Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила его словам гулким эхом удивления. О том, что не допустят до «него», некоторые из толпы говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, никто не допускал.

Худой высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал:

— Что? Говорил я — не допустят они...

— Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а там...

Он махнул рукой куда-то вдаль.

— Выше которые... Ага? Я же говорил!

— Это еще неизвестно...

— Узнают, зачем идем, — пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики. Движения людей стали суетливее; от реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперед. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе. Но впереди все — мужчины, женщины, подростки — тоже махали белыми платками.

— Какая там стрельба? К чему она? — солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. — Просто они не пускают на мост... дескать, — идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

— Холостыми... — не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперед, на штыки, вытянутые навстречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед нее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по-двое, по-трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то, прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхивали яркие красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа всей своей массой подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов.

В толпе кто-то кричал истерически громко:

— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли... Не верьте!.. Иди, братцы... надо объяснить!.. Ах, господи... ведь это что же?

— Гапон — изменник, — вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.

— Что, товарищи, как встречают вас?..

— Постой... это ошибка... не может этого быть, ты пойми. Али ты не человек?..

— Это вы не люди, вы — овцы, стадо, и вот как вас...

— Пропусти... сторонись...

— Дай дорогу раненому!..

Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось еще более, и темные губы, слабо двигаясь, прошептали:

— Я говорил... не пустят... они его скрывают... что им — народ...

— Ребята... Конница!

— Беги!..

Стена солдат поколебалась и растворилась, как две половины деревянных ворот; танцуя и фыркая, между ними проехали лошади, раздался крик офицера, над головами

конницы взвились, разрезав воздух, сабли. Толпа стояла и кричала, волнуясь, ожидая, не веря.

— Ма-арш! — раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых, сверкали сабли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон.

— А-а-а!..

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей и вслед за ударом тела их наклонялись на бок.

Народ загнали в улицы...



Разгон стачечников.

Маленький дружинник.

1.

Вся эта осень была переполнена странной тревогой. Вот этот вечер — Яшка не забудет его — мать сердито ворчала:

— Ох, что-то будет, что-то будет. Вот помяните мое

слово, насидимся мы голодные. Пошла я вчера к Ермилову за мясом, а магазин-то запертый. «По какому случаю?»— «Приказчики не хотят в воскресенье торговать». А? Гляди-ка на них, праздник себе сделали. Господа какие! Где это видано, чтобы по воскресеньям магазины запирались? Рабочему народу и походить-то по магазинам только в праздник, а они на-ка тебе, — закрыли, забастовали!

Отец безнадежно махнул рукой.

— Да брось ты, мать, не скрипи, пожалуйста.

Мать рассердилась.

— Вот... вот ты тоже такой, я знаю. Ты тоже за забастовку. Толкуют тут про тебя. Вот сгонят с завода, куда мы пойдем? О-о, головушка моя сиротская.

И пойдет перепалка. Яшка и не помнит, чтобы отец с матерью так ссорились. А Яшке двенадцатый пошел,— нагляделся уже он всякой всячины и дома и на улице. Знамо, и прежде так бывало, вот застрекочет, вот заругается мать. То ей нехорошо, другое нехорошо.

— Гляди, как люди вон живут. А у нас, матушки мои, все не как у людей.

И пойдет, и пойдет. А отец этак отмахнется от нее, как от мухи надоедливой, и скажет:

— Не скрипи.

И ни слова больше. Тут и склоке конец. А ныне — отец упорный такой стал, сердитый.

— Или приказчики не люди? Или мы вот... возьми... одиннадцать часов рабочий день. Это как, по-твоему?

— А вам что же? Вам бы по часику работать в день? Потюкал молоточком часик какой и будя? А остальное время на пьянство?

— А-а, говорить с тобой.

Отец сердито надвинул по самые брови фуражку и вышел. Мать растерянно поглядела ему вслед.

— Куда ты, Иван? Вернись, я тебя прошу!

Она подбежала к двери. Было слышно, как отец поспешно уходил по коридору. Мать порывисто отворила дверь и крикнула:

— Вернись, тебе говорю!

Но в сенях хлопнула выходная дверь. Мать подождала минуту, послушала.

— Ушел. Вот куда он теперь ушел? Ну? Бывают же такие упрямцы. Хоть кол на голове теши, — он одно свое будет делать. Время-то какое? Тут арест, там арест, — всех рабочих словно воров кажный день в участок таскают, а он гляди-ка выкомаривает. Слова ему не скажи, а то картуз на макушку и был таков. Забастовщик поганый. Ох, чует мое сердце, не к добру это.

Яшка молчит. Он угрюмо, большими глазами смотрит на мать. «Чего она пугает?» Яшка человек положительный, солидный, слов на ветер не бросает, — в отца весь, и хочется вот в спор ему вступить, да ведь что же? — скажи матери слово, а она разом сто выпалит. Пускай уж одна поругается.

Вдруг дверь в сенях хлопнула, в коридоре торопливо затопали ноги. Мать и Яшка испуганно глянули на дверь. А на пороге — тетка Татьяна Журина, — платок съехал на бок, волосы растрепались, выбились на лоб, глаза как копейки — большие и круглые. И рот раскрыт.

— Что? что с тобой, Татьяна?

— У... убили. У Гиллерта... на заводе убили.

Яшка увидел, как у матери дрогнуло все лицо. Мать крикнула:

— Кого убили?

— Ой, не отдышусь. Максима Пономарева убили. Ой, батюшки, что началось. На улице городовые везде, не пропускают.

«Не пропускают? Городовые?» Яшка будто обожженный заметался по комнате, отыскивая пальто и шапку.

— Сходку сделали. Ну, кричали. Тут полиция: «Разойдись!» И на толпу с саблями. А рабочие кирпичами, палками. А городовые стрелять. И убили двоих, что ли...

Пулей вылетел Яшка в сени, — где-то далеко сзади мать крикнула:

— Куда? Куда?

А Яшка хлоп калиткой и — на улице.

Вечер уже давно пришел. На улице бродил седой осенний туман, и в его полумраке уличные фонари горели неясно, как чьи-то воспаленные, затуманенные слезами глаза.

Люди, будто тени, идут торопливо, туда, во мрак, к углу. Только торопливые шаги были слышны — тук-тук-тук.

Яшка бегом припустился по улице. Резкие крики послышались из мрака. Вот ближе, ближе, и Яшка увидел большую черную толпу, запрудившую тротуары и мостовую. Толпа стояла густо, стеной. За толпой вдали, под фонарем, виднелись полицейские на лошадях. У них из-за плеч выглядывали винтовки. Эти винтовки особенно поразили Яшку, потому что никогда прежде он не видел у городовых ничего, кроме «селедки» и револьвера. Злой голос кричал:

— Разойдись! Вас честью просят!

А толпа орала, заглушая голос:

— Палачи! Долой! Бей полицию!

Конные городовые выстроились цепью поперек улицы и поехали на толпу. В руках у них забелели сабли. Толпа заулюлюкала, зашумела сильнее, кто-то черный возле Яшки руками шарил по земле, отыскивая камни. Сзади затрещал забор. Люди из тьмы подбегали сзади к толпе и через ее головы бросали в городовых камни, поленья, обломки досок.

— Бей! Долой!

Яшка завертелся волчком. Он нагнулся, отыскивая камень, пальцами рвал булыжник мостовой. Булыжник сидел крепко, и Яшка в ярости метался, бессильный вырвать хоть один камень. Он увидел: из дворов люди бегут с поленьями. Он бросился в чей-то двор, там у забора поленица. Он схватил охапку поленьев, выбежал с ней на улицу. Но толпа, тяжело топая, бежала мимо врассыпную, а за ней скакали конные городовые. Яшка грохнул поленья на тротуар и в испуге пустился наутек. Он бежал вдоль домов и заборов, будто хотел спрятаться в них, а городовые скакали по мостовой. Ему казалось, что вот-вот за спиной грохочут копыта страшных лошадей. Но — переулок, и Яшка нырнул в тьму, спрятался за столбом у ворот и притаился. Его сердце яростно колотилось... Городовые скакали дальше по улице. Крики терялись и глохли вдали.

Яшка ждал. В переулке было тихо, темно. И от этой тишины Яшке было страшно. Он осторожно пошел к углу. Там виднелись городовые и дворники. Яшка повернул назад и, колеся переулками, пошел к дому. Кое-где у ворот стояли люди, тихо переговаривались. Где-то далеко раздавались выстрелы.

Мать встретила Яшку ругательствами,

— Где ты был, окаянный ты этакий?

Но отец, сидевший у стола, вдруг сердито стукнул по столу кулаком и крикнул на мать:

— Ну, довольно ты!

Яшка с удивлением посмотрел на отца. «Что с ним?» Лицо у отца было новое: брови сошлись над переносьем, глаза смотрели сердито, и губы сжались, будто отцу было больно.

2.

На другой день во всем районе только и разговора было об убитом Михайле Пономареве. В школе, еще до уроков, Яшка узнал все, как было. Семка Грачев рассказал, — у Семки отец тоже у Гиллерта работает, он все видел.

— Собрались, директора требуют. А вместо директора — городовые: «Разойдись!..» Пух! Пух!.. из револьвертов... А Михайло на них: «Долой!» Они в него пух! пух! пух! — двадцать пять пуль всадили. А он: «Не сдаюсь!» Они еще в него пух! пух! — и убили.

И Михайло Пономарев стал перед глазами Яшки, как богатырь в сказке. Яшка подумал: «Вот бы поглядеть его!»

— Завтра хоронить будут, — говорил Семка, — завод остановят, все пойдут. И я пойду.

— Я тоже пойду, — сказал Яшка.

— Все пойдем! — закричали ребята, — все!

Кто-то на задней парте запел: «Вы жертвою пали в борьбе роковой!» Трое-четверо подхватили... Яшка жадно ловил слова незнакомой песни, пел — так вот без слов, только голосом... Прибежал перепуганный Сергей Иваныч.

— Что вы, балбесы, поете? Или в участок попасть захотели?

Ученики замолчали. Но едва Сергей Иваныч скрылся, опять все запели... вполголоса, тихонько, но эта тихая, заглушенная песня была будто сильнее, — вот так голой рукой и брала за сердце. На уроке Яшка украдкой списывал слова... «и шли вы, гремя...».

— Савельев, как будет дальше?

Яшка очнулся. Сергей Иваныч ядовито смотрел на него.

— Ну? Как будет дальше?

Яшка столб — столбом. Он и не слыхал, о чем речь,

— А, болван. О чем ты думаешь? Вот я тебя оставлю после уроков. Садись да слушай внимательно.

Яшка сел, опять потянул бумажку и начал писать... «гремя кандалами».

А на переменах всем классом вполголоса пели эту песню и еще — буйную и задорную: «в бой роковой мы вступаем с врагами» — и Яшка уже знал все слова, пел звончее всех, и сердце у него прыгало птицей.

Из класса ребята пошли все гурьбой. Уже в коридоре запели во весь голос «Вы жертвою пали». Так с песней и вышли на улицу. На углу, как раз против училища, стояли два городовых с винтовками. Ребята закричали: «Долой полицию!»

Один городовой быстро пошел на них. Ребята бросились врассыпную и уже издали орали: «Долой!»

Задребезжал свисток, появились еще городовые, словно они где-то прятались рядом, и опять стало тревожно. Большие, толстые, здоровые городовые, громыхая сапожищами, бежали за ребятами. Яшка видел: одного схватили, повели...

А прохожие смеялись и кричали:

— Молодцы ребята! Долой фараонов!

Будто сами стали, как мальчишки.

Вечер и ночь этого дня были беспокойны. Отец не пришел домой. Мать плакала. Приходила Татьяна Журина, сказала, что «завтра начнется». А что начнется — неизвестно. Стал Яшка расспрашивать. Татьяна одно свое:

— Постановили начать. Не иначе начнут.

Утром хотел Яшка улизнуть без книг, да мать заметила.

— Почему книги не берешь?

— У нас ныне без книг.

— А без книг, так и совсем не ходи; сиди дома.

Пришлось взять книги. Но Яшка хитрый: вышел в сени и положил книги под лавку за корзину. «Пусть полежат». А сам бегом на улицу и прямо к заводу Гиллерта.

Утро уже было большое, но туман еще не ушел, и небо висело низко, будто прижалось грудью к крышам. Рабочие торопливо шли к заводу. На перекрестках неподвижно стояли городовые — по-двое — с винтовками. Кое-где на углах зачернели толпы, — ждали, что будет сегодня, говорили о вчерашнем. У закрытых ворот завода стоял только сторож. Ра-

бочие проходили мимо ворот и длинного заводского забора к кирпичному двух'этажному зданию, что виднелось в конце переулка. Яшка пошел туда. Весь переулок возле дома был забит черной толпой. Картузы, кепки, пальто, хмурые лица, сдвинутые брови.

Толпа молчала, стояла неподвижно, точно каменная. Яшке все показалось новым и особенным. Он забрался на выступ забора и глянул через головы толпы. У самого крыльца дома, за черной толпой, виднелись белые лошади с белыми султанами и белая погребальная колесница.

Рабочие без фуражек гужом выходили из дома на крыльцо.

Вдруг, позади них мелькнуло что-то белое, и Яшка увидел гроб. Рабочие выносили его на плечах. Вот гроб уже на крыльце. Толпа точно по команде молча обнажила головы. Никто не двинулся. Красные ленты и букеты на белом гробу, и эта молчаливая толпа, и желтые пятна лиц— все было необычайным, диковинным для Яши.

Гроб поставили на колесницу. Кто-то там, у крыльца, крикнул:

— Товарищи, цепью! Цепью, товарищи!

Толпа заколыхалась. Колесница тронулась, и белый гроб весь в красных лентах и красных цветах словно поплыл в уровень голов толпы. Впереди, с боков и сзади рабочие плотной цепью — плечо к плечу—двигались медленно, молчаливо. Только звонкий топот лошадиных подков и бесчисленные глухие шаги толпы слышались в тишине. Так молча переулком мимо длинного темного заводского забора двинулась погребальная процессия. У запертых заводских ворот стоял все тот же бородатый сторож. Он снял шапку. Вдруг где-то в задних рядах, в самой гуще толпы высокий дрожащий голос запел:

Вы жертвою па-али...

Толпа встрепенулась, разом подняла головы.

...в борьбе роковой...

Еще и еще голоса присоединялись. Нестройно, неуверенно, но уже сильно:

Вы отдали все, что могли за него...

Волнами песня захватывала новые круги. Уже здесь вот пели, возле забора, прямо над ухом Яшки. Бородатый рабочий в пальто с барашковым воротником гудел крепким басом. И Яшка, будто толкнул его кто, запел звонко, выливаясь весь в задор, в силу:

Порой изнывали вы в тюрьмах сырых...

Вдруг здесь, в тесной улице, просторно стало Яшке, точно полетел он на больших мягких крыльях или сам стал песней:

И шли вы, гремя кандалами...

Из переулка вышли в улицу. Здесь рабочие стали стеной вокруг гроба—шли плотно спереди, с боков, сзади, а за их живой стеной в уровень голов точно плыл белый гроб с красными лентами и красными цветами на нем.

На тротуарах стояли женщины, ребята, глядели на толпу, на гроб тревожно, с испугом. Толпа росла. Уже и здесь стало тесно. Сзади запели «Варшавянку». Задорный ветер подул на толпу.

Так прошли квартал, другой. Яшка шел по мостовой между взрослыми и видел только бока, спины людей вокруг себя, повыше — верхние этажи домов и низенькое небо над головой. Вдруг он почувствовал, что толпа дрогнула и сжалась. Песня оборвалась. Резкие крики раздались где-то впереди. Толпа остановилась. Яшка бросился к тротуару и мгновенно влез на железную загородку, что была возле деревца. Ряды верховых полицейских выезжали из-за угла. Все они были в черных шинелях, и из-за плеч виднелись винтовки. А впереди в серой шинели ехал пристав. Он махал рукой и кричал:

— Прекратить песни! Снять букеты и ленты! Эт-то что такое?!

Толпа глухо ворчала. Яшка готов был спрыгнуть скорей наземь, чтобы поднять камень и запустить им в полицейских. Но кто-то из толпы кричал:

— Товарищи, спокойствие! Выдержка!

Толпа стояла молча, мрачно, ждала. Только вздрагивали белые султаны на головах лошадей у погребальной колесницы.

— Снять ленты! — орал пристав. — Шевчук, сними.

Полицейские двинулись было к самому гробу, но кто-то черный уже поднялся на колесницу и снял красные ленты и букеты.

Яшка видел, как в толпе нервно и судорожно рвали ленты, и через минуту у всех на груди закраснели маленькие значки, точно кровь с гроба брызнула на толпу. Яшка поспешно спрыгнул наземь, опять смешался с толпой и зашептал, протягивая руку к красным букетам:

— И мне, дяденька, и мне.

Он торопливо прикрепил ленточку в петлю пальто.

Полицейские раздвинулись, встали шпалерами, и толпа мрачно, молча, не глядя на полицейских, пошла дальше.

За заставой, у кладбища, еще больше было полиции. Целые ряды пеших и конных городовых виднелись у ограды. А там, позади Армянского кладбища, на шоссе, стоял длинный ряд солдат с винтовками, в серых шинелях. Они издали молча смотрели на толпу.

И на кладбище всюду между крестов и деревьев виднелись черные фигуры городовых с винтовками. Рабочие молча опустили гроб в могилу. Только покашливанья слышались, и стук комьев земли о крышку. Никто не заплакал. Яшка глянул вокруг. Все лица точно железные и в глазах сумрак. Вдруг над толпой поднялся кто-то молодой с длинными русыми волосами и крикнул:

— Товарищи!..

Но серый пристав ринулся к могиле:

— Никаких речей! Прекрати!

Русая голова скрылась. Толпа заволновалась.

— Разойдись! Довольно! — кричал пристав.

Сзади Яшки поднялся над толпой высокий черный рабочий.

— Товарищи! Спокойствие! Мы сейчас уйдем, но мы скоро придем!

Он погрозил рукой и скрылся.

— Довольно! Я требую! Разойдись! — орал пристав.

Толпа молча стала расходиться. Яшке чего-то было жаль. Почему бы и не подраться с полицией? И уже за оградой, он, проходя мимо полицейских, задорно крикнул:

— Мы сейчас уйдем, но мы скоро придем!

И погрозил рукой, как тот высокий черный рабочий.

Толпа редела и шла уже только по тротуарам. В воздухе замелькал редкий снег...

3.

Зима в этом году установилась спорая, — снег ложился упорно, холода крепчали, и в немного дней весь город принарядился в белую ризу, все рты закурились паром, щеки зарозовели морозно, и звон в церквах стал хрустальным, как только бывает в хорошие зимние месяцы.

Но жарко и напряженно жили люди в эту наступающую зиму. На заводах и фабриках рабочие бастовали. Магазины и конторы часто закрывались, потому что служащие бастовали вместе с рабочими. Железные дороги остановились. На улицах люди собирались толпами, кричали, иногда пели задорные новые песни, и над головами толпы порой появлялся красный, наскоро сделанный флаг, всегда маленький. И полицейские — конные и пешие, — завидев флаг, исступленно бросались на него, точно в нем, в этом маленьком флаге, была вся сила, столь непонятная и вместе страшная им, полицейским.

Полицейских стало невиданно много. Они ходили целыми отрядами. Они часто переодевались в пальто. Иногда они сами говорили против правительства, а после, по их указанию, другие полицейские арестовывали тех из толпы, кто с ними соглашался.

Переодетые полицейские, торговцы-мясники и оборванцы ловили по улицам студентов и били их. Били за то, что студенты «в бога не верят, царя не признают и мутят народ».

Весь город был полон диких слухов. Шопотом говорили, что студенты и забастовщики хотели пустить в водопровод яда и отравить весь город, «ну, только им не удалось: один благочестивый старец в сонном видении узнал про это и сообщил, куда нужно».

Еще говорили, что японцы прислали рабочим и студентам много вагонов золота, подкупили их, и вот поэтому студенты и рабочие бастуют. Бабы на базаре говорили:

— Им теперь что? Они теперь богатые. Денег у них невпроворот. Поездами им везут золото.

Яшкина мать знала об этом доподлинно от верных людей.

— Мясник Никифор Петрович сам видел, как на завод ночью золото на возах везли, — сказала она однажды.

Отец заругался.

— Да ты подумай, что ты говоришь? Ну, вот я бастую. Что же я тебе принес лишнюю копейку?

Мать смутилась, с минуту помолчала, потом заговорила сбивчиво:

— Ну, это я уж не знаю. Может, тебе не дают, только сами делят?

— Тьфу! — рассердился отец, — с тобой говорить — сам дураком станешь.

— А ты не говори. Кто тебя просит говорить со мной? Ты вот денег-то давай на обед. Что жрать-то будем, забастовщик?

Яшка слушал перебранку отца с матерью, слушал говор на улицах, крики толпы, речи редких, случайных ораторов и странно рос, будто поднимался на какую-то гору, с которой видно далеко. Отец — этакий хмурый, озабоченный—ему нравился в эти дни, и хотелось с ним поговорить о чем-то, а о чем, Яшка и сам не знал.

К отцу приходили товарищи, тоже рабочие, говорили непонятно о каких-то странных людях — эс-деках, большевиках, эс-эрах, кадетах. Говорили, что в Твери убит губернатор, что в Петербурге было покушение на министра, что не нынче-завтра начнется восстание, и тогда, пожалуй, придется пойти всем на баррикады.

Яшка не утерпел:

— Папа, что такое баррикада!

Отец мельком глянул на него.

— Подожди, сам увидишь.

В школе в эти дни не занимались. По утрам Яшка все же уходил из дома с сумкой, переполненной книжками: он обманывал мать, которая не пустила бы его на улицу, если бы не школа. Так с сумкой Яшка и бродил весь день по улицам. Он видел толпы с красным флагом—радостные и торжествующие, певшие задорные песни. Иногда по улицам бродили другие толпы — с флагом трехцветным, с царскими портретами в золоченых рамах. Эти толпы пели «Боже, царя храни» и «Славься, славься наш русский царь», там люди были пьяны, сплошь мужчины, — переодетые по-

лицейские, дворники, мясники, ломовые извозчики, оборванцы, — они ходили с дубинами, с кастетами и грозили всем кулаками, орали:

— Бей студентов! Бей жидов! Бей интеллигенцию!

Раз Яшка видал, как они захватили студента, долго били его и бросили с моста в речку. И никто не заступился, хотя здесь же, на мосту, толпой стояли полицейские с винтовками на плечах и шашками на боку.

На улицах, на снегу, кое-где краснели пятна крови,— след убийств и побоищ. Никогда этого прежде не было.

Однажды отец не ночевал дома две ночи под ряд. Мать ругалась и плакала, и дома было так тоскливо, что Яшка и часа сидеть не мог, — убегал на улицу.

Отец не пришел и на третью ночь. Мать прождала до полночи. Яшка видел: она сидела молча перед пустым столом, смотрела прямо перед собою, о чем-то думала. Яшке стало жутко.

— Мама, ляг спать, — попросил он.

Мать вздрогнула, пристально посмотрела на него.

— Ты не спишь? Завтра пойдем отца искать. Что это, господи, за жизнь стала? Не убили ли его?

Она заплакала.

Утром мать и Яшка собрались итти вместе отца искать. Они уже оделись, — вдруг в квартиру вбежала соседка Татьяна Журина, растрепанная, бледная.

— Батюшки! Что делается на улице! — крикнула она.— Стрельба-то какая. На всех улицах кровопролитие началось!

Яшка, точно его подбросила какая сила, бросился вон из комнаты. Мать побежала за ним, закричала во всю мочь: «Воротись!» Но Яшка хлопнул калиткой и помчался что есть духу к углу.

На улице, где-то недалеко, стреляли. У каждых ворот чернели кучки людей. Все, вытягивая шеи, смотрели на угол, как будто ждали, что вот-вот оттуда выскочит кто-то страшный.

Яшка добежал до угла. Здесь, возле газетного киоска, двое рабочих, низко нагнувшись, торопливо подпиливали телеграфный столб. Это было так удивительно, что Яшка на момент остановился. Из ворот каменного угольного дома рабочие выносили дрова, доски, брусья и бросали их кучей

на мостовую. Среди взрослых рабочих были и мальчуганы. Яшка побежал за другими во двор, набрал под сараем охапку поленьев и вынес ее на улицу. Все были возбуждены, бегали, кричали, будто все играли в какую-то очень веселую игру. Подпиленный телеграфный столб упал поперек улицы. Падая, он оборвал проволоку. Толпа рабочих подняла газетный киоск с его места и положила на бок на мостовую. Теперь от тротуара до тротуара валом тянулась изгородь, окутанная телеграфной проволокой. Рабочие говорили:

— Баррикада готова.

«А-а, это и есть баррикада», подумал Яшка.

— Ну, теперь нас сразу не возьмешь! — посмеивались рабочие.

Откуда-то появился красный флаг. Его на высокой палке воткнули в самый гребень баррикады.

— Живет!

— Урра! — закричали рабочие.

— Урра! — громче всех кричал Яшка.

Позади баррикады, как в запруде, толпой собрался народ. Рабочие от Гиллерта в черных мазаных куртках, двое студентов в шинелях, веселая румяная барышня с черными глазами, десятка два мальчишек. У двоих рабочих были охотничьи ружья. Студент кричал:

— Товарищи, кто с ружьями, тот станет по сторонам, а с револьверами — в средине. Сколько у нас револьверов? У кого есть, товарищи, револьверы?

— У меня есть.

— У меня.

— Раз, два, три..., восемь револьверов и два ружья. Товарищи, будем защищаться до последнего! — волновался студент.

— Да чего защищаться? Может быть, казачишки сюда и не поедут. Надо бы разведку послать, — сказал пожилой рабочий.

— Верно! Разведку! Узнать, где они.

Двое рабочих тотчас полезли через баррикаду. Но прежде них полезли мальчишки, Яшка впереди. Все бегом побежали по улице.

Вот угол. Отсюда широкая улица протянулась вправо и влево. Кое-где у ворот чернели люди. А на мостовой

никого: ни прохожих, ни извозчиков, ни трамвая. Лишь далеко слева протянулся вал поперек улицы, и там копошились черные люди.

— Ага, и там стоят, — сказал рабочий. — Весь город восстал.

— Где же казаки-то? Глядите, ни казаков, ни городовых.

— Дальше, что ли, итти?

— Куда же дальше? Э-э, гляди, что там?

На ближнем углу закопошились люди, перебежали от угла к воротам и поспешно спрятались. Послышался дружный лошадиный топот, и на угол выехали казаки — в высоких черных шапках, с винтовками и пиками. Оба рабочих, а за ними Яшка и другие ребятишки нырнули за угол и помчались по тротуару назад к баррикаде. Люди, что стояли у ворот, завидев бегущих, поспешно прятались. Яшка по поленьям быстро перелез на другую сторону баррикады. Рабочие, оба студента и черноглазая барышня в башлыке цепью стояли вдоль баррикады. Они осторожно выглядывали из-за гребня. Казаки вдали гарцовали по пустой улице. Кто-то здесь крикнул:

— Берегись!

И в этот момент вдали ахнул громкий выстрел, и что-то щелкнуло в газетный киоск.

— Стреляют. Держись, товарищи.

Двое рабочих, низко пригибаясь, побежали прочь от баррикады. Мальчишки за ними. Казаки выстрелили залпом. С баррикады полетели поленья, щепки. Яшка видел, как через голову барышни перелетело круглое поленце и завертелось на снегу позади нее. Еще трое рабочих ползком уползли за угол ближнего дома. Остальные сидели неподвижно, оглядываясь один на другого. Они не стреляли. Студент все просил:

— Не стреляйте, товарищи. Пусть ближе подъедут.

Все сидели, держа револьверы наготове. Рабочие с ружьями, стоя на коленях, в кого-то прицелились и так ждали, не стреляя. Зато казаки торопливо стреляли. Пули хлестали в баррикаду, в стены, в деревья, что росли вдоль тротуара, посвистывали над головами. Порою пуля, ударившись в стену, с печальным визгом летела через головы. Яшка присел низко, почти распластался на снегу. Уже прошел весь его

задор, и ему стало страшно. Сердце судорожно колотилось. Он боялся поднять голову. Ему хотелось крикнуть рабочим и студентам: «Да стреляйте же!» Потому что ему казалось, если рабочие выстрелят, то казаки ускачут. Но студент покрикивал:

— Терпение, товарищи. Не стреляйте!

Он ползком прополз вдоль баррикады раз, другой, что-то высматривал. Яшка злился на него. А выстрелы ахали беспрерывно. Казалось, что казаки вот близко, вот сейчас из-за гребня протянется винтовка и стрельнет прямо в Яшку. Возле него сидели двое рабочих с револьверами. У одного револьвер был большой, черный, у другого — белый, маленький, как игрушка. Рабочие молча смотрели в щель между досками. Яшка заметил: у обоих лица были резкие, как у отца, когда он сердился. Тот, что сидел поближе, искоса посмотрел на Яшку и сказал:

— Ты бы, малый, убирался отсюда. Убьют.

Но другой заступился.

— Куда он пойдет? Пусть сидит.

— Убьют.

— Побежит — убьют хуже.

— Товарищи, приготовься! — крикнул студент.

На момент стало тихо, и Яшка вдруг услышал недалекий топот лошадей.

— Пли!

Над ухом разом ахнул гром.

— Пли!

Опять гром. И крики:

— Урра!

Все вскочили на ноги и стреляли стоя, через баррикаду. Яшка увидел: на улице, вот рядом, за четыре, за пять домов от баррикады, бешено кружились лошади, перепуганные выстрелами, поднимались на дыбы, скакали прыжками, казаки хлестали их нагайками и, повернув, галопом, уносились прочь. По тротуарам убегали городовые.

— Урра! Бей! — орали из-за баррикады, и выстрел за выстрелом гремел вслед убегавшим. На снегу лежал неподвижно казак, недалеко — две шапки, винтовка.

«А-а, винтовка!» подумал Яшка, и вдруг какая-то мысль толкнула его. Он перескочил через баррикаду и, пере-

бегая от дерева к дереву, пробежал один дом, другой. третий, прыжком выскочил на мостовую, схватил винтовку и опять спрятался за дерево, постоял, высматривая, где казаки. Но казаки скакали все дальше и дальше. Яшка пустился назад. Из-за баррикады на него смотрели, что-то кричали ему. Высоко держа винтовку над головой, Яшка перелез через баррикаду. Его встретили веселыми криками. Студент взял у Яшки винтовку, открыл затвор, сказал:

— Заряжена.

Высокий рабочий в серой шапке потрогал Яшку за плечо.

— Да ты, малый, молодец!

Кто-то сказал:

— Надо бы посмотреть, нет ли еще там патрон.

— Казак лежит, у него патроны есть, — задыхаясь от волнения ответил Яшка и, не дожидаясь, что ему скажут, он опять полез на баррикаду. Но на него крикнули:

— Куда? Убьют! Назад!

Вдали серой стеной стояли солдаты и было слышно: там тревожно играла труба.

Пошел снег. Все стало пестрым, веселым. Рабочие и студенты, точно играя, подбирали поленья, раскиданные пулями, снова клали их на гребень. Из ближних ворот приволокли сани, извозчичью пролетку, притащили четыре старых бочки, принесли железные трубы, старый матрац и еще массу дров. Все укладывали на баррикаду. Яшка раз двадцать сходил во двор за дровами. Теперь все посматривали на него весело, покрикивали:

— Веселей, малый, действуй. Наша берет.

Кто-то смеялся. Кто-то запевал песню «Вихри враждебные веют над нами». Другие подхватили, — Яшка звонче всех, — и так с песнями и смехом возились у баррикады. От завода пришли еще рабочие — человек десять. Двое с ружьями, остальные с револьверами. Один, махая шапкой, крикнул:

— Дружинники! Держись, не выдавай!

— Урра!

Яшка кричал:

— Дружинники, ура!

Новое слово — дружинники — его привело в восторг.

— Товарищи! становись на места! Идут!

Все торопливо стали вдоль баррикады. Теперь дружинников было много. С улицы послышались далекие крики:

— Сдавайся! Разойдись!

— Стрелять будем!

Студент выстрелил из винтовки. И разом — и там и здесь — захлопали выстрелы. Рабочий в серой шапке — тот, что вот недавно трепал Яшку по плечу — переступил с ноги на ногу, повернулся, как будто собрался уйти, и со всего маху грохнул на землю. Падая, он уронил револьвер в снег. Яшка ястребом подхватил револьвер и оглянулся. Он ждал: кто-нибудь взрослый увидит и отнимет револьвер у него. Но никто не оглянулся. Яшка нашел щель между поленьями, — через щель было видно пустую улицу. Нигде никого. Только присмотревшись, Яшка увидел серые фигуры солдат, прятавшихся за деревьями и за выступами домов. Иногда солдаты поспешно перебегали от выступа к выступу. Яшка всунул в щель револьвер, зажмурился и выстрелил. Его толкнуло в руку. И — ничего страшного. Яшка задорно крикнул:

— Уррра! Бей!

Выстрелы загремели чаще. Кто-то крикнул:

— Бегут! Бегут!

Все высунули из-за баррикады головы и стреляли в кого-то. Яшка забрался на самый гребень. Далеко по улице убегали серые фигуры, еле видные за сеткой падающего снега. Дружинники перелезали через баррикаду, кричали, стреляли вслед убегавшим.

Яшка с револьвером в руке побежал по улице. Казак все еще лежал. Снег уже запорошил его. Рабочий с винтовкой подошел к нему и отстегнул сумки с патронами. Издали, из-за густой сетки снега, опять послышались выстрелы. Яшка услышал, как недалеко над его головою пронеслось что-то сильное, будто вздох.

— Назад! Назад, товарищи! — кричали дружинники.

Все поспешно пошли назад. Уже смеркалось. Снег падал хлопьями, и все вдали смешалось. Где-то далеко стреляли. На соседней улице звонил колокол. Дружинники, собравшись кучкой, о чем-то совещались. Яшка на всякий случай спрятал револьвер в карман: он еще боялся, что его отнимут у него.

4.

Поздно вечером, когда уже совсем стемнело, дружинники развели костер позади баррикады, грелись, протягивая закоченевшие руки к огню, плясали возле костра. Уходили и приходили снова. Двое принесли в мешке калачей и колбасы, положили мешок на снег возле костра.

— Кто хочет есть, товарищи? Подходи!

Бородатый дядя в полушубке, подпоясанном ремнем, крикнул Яшке:

— Эй, маленький дружинник, иди есть.

И подал ему ломоть хлеба с колбасой.

— Тебя как зовут?—спросил он.

— Яков Савельев.

— Э, да ты знакомый. То-то я гляжу... Иван Савельев отец твой?

— Отец.

— Та-ак. Значит, и отец и сын сражаются на баррикадах. Ты бы, Яшка, к отцу шел. Он на Садовой стоит. Там они большую баррикаду построили. Сколько вагонов свалили... Прямо вровень с окнами вот.

Яшка немного подумал: «А вдруг отец заставит домой итти?»

— Нет, я здесь останусь.

— Здесь лучше?—усмехнулся дядя.

— Лучше.

Яшка хотел спросить дядю, как его зовут, и не посмел. Но рад был, что среди дружинников у него есть теперь знакомый,—знает его отца.

Придется ведь потом рассказывать, что вот он, Яшка Савельев, был на баррикадах. А кто поверит? Тогда можно будет сказать: «Вот хоть этого дядю спросите». Как же его зовут?

Но вот один рабочий спросил бородача:

— Никифор Павлыч, у тебя много патрон?

Яшка подумал:

«А-а, его зовут Никифор Павлыч».

Пришли двое рабочих и студент, закутанный в башлык.

— Товарищи, кто хочет спать и греться, идите в штаб. Здесь часовых оставим,—крикнул рабочий.

Все быстро собрались и пошли к заводу. Когда отошли немного, Яшка оглянулся. У костра сидело два человека, а третий, едва видный в темноте, расхаживал взад и вперед вдоль баррикады. Дружинники шли плотной толпой, пели «Вихри враждебные веют над нами», и опять задорнее всех и громче всех пел Яшка. Он шел возле Никифора Павлыча.

Все по улице дома справа и слева стояли сплошь темные, без единого огонька. У многих домов окна были закрыты ставнями и заколочены досками. Людей нигде не было видно. Только уже ближе к заводу стали попадаться часовые.

— Кто идет? Пароль?—кричали они издали.

Никифор Павлыч с винтовкой на плече выходил далеко вперед дружины, подходил к часовому и говорил пароль, и дружина с песнями проходила мимо.

Ближе к заводу стали попадаться группы рабочих. На перекрестках улиц горели костры. На заводском дворе все фонари светились ярко, свет лился из всех окон, и было светло, как днем. На дверях столовой Яшка прочитал надпись, сделанную мелом: «Штаб дружин».

Часовой, стоящий у крыльца, крикнул Яшке:

— Мальчик, сюда нельзя тебе. Иди домой.

И хотел силой остановить Яшку. Но Никифор Павлыч заступился:

— Не тронь. Он в нашей дружине.

Дружина шумно вошла в столовую.

Большое красное полотно с белыми буквами тянулось по всему залу под потолком: «Жить в свободе, умереть в борьбе».

Здесь было много дружинников. Одни сидели за столами, пили чай, другие спали, растянувшись на полу. Несколько винтовок и охотничьих ружей стояли, приставленные к стене. Яшка выбрал местечко в уголке залы, улегся и тотчас уснул, сраженный усталостью.

5.

Весь следующий день прошел в мелких стычках дружинников с казаками и драгунами. Дружинники захватили все улицы кругом. Баррикады были построены на всех углах. Рабочие и студенты подпиливали телеграфные и фонарные столбы и с пением «Дубинушки» перетаскивали их до перекрестков, здесь складывали кучей, а поверх столбов клали

доски, дрова, сани, телеги, ворота, снятые с ближних дворов, листы строевого железа и все это окутывали проволокой, засыпали снегом и поливали сверху водой.

Драгуны, казаки и полиция порой наскакивали на рабочих, старались помешать работе, но дружинники встречали их выстрелами, и те тотчас скрывались. Иногда между дружинниками и полицией завязывалась перестрелка. Дружинники отрядами в два, в три человека обходили дворами в тыл неприятелю и вдруг открывали стрельбу. Неприятель трусливо убегал, оставляя раненых и убитых. Яшка слышал, как все жаловались, что нет оружия.

На заводе Гиллерта кузнецы ковали пики и кинжалы. Но что можно было сделать с ними против солдатских винтовок?

Раза два дружинники ходили далеко в улицы ловить и обезоруживать одиночных городовых и приносили винтовки и маузеры.

Везде появились маленькие санитарные отряды курсисток и работниц с носилками. Пока не было перестрелки, из всех домов выползали к воротам кучки людей, с любопытством смотрели на баррикады, на дружинников, иногда сами помогали строить баррикады. Но едва раздавались выстрелы, все бросались в дворы и исчезали, как дым. Улицы сразу пустели, и только дружинники цепочкой залегали за баррикадой и оттуда стреляли в войска и полицию.

К вечеру сильный отряд полицейских, казаков и драгун после боя взял первые баррикады на Садовой улице. Дружинники отступили.

После выстрелов на улице стало вдруг тихо.

Никифор Павлыч сказал Яшке:

— А ну-ка, малый, ступай посмотри, что там делается.

Яшка безбоязненно пошел назад к оставленной баррикаде. Городовые и пожарные разбирали баррикаду, а драгуны и солдаты, все вдребезги пьяные, разъезжали по улицам и по переулкам. Дворники на салазках увозили от баррикады ворота, взятые дружинниками с их дворов. На Яшку никто не обратил внимания. Все высмотрев, Яшка вернулся и рассказал Никифору Павлычу, что видел.

— Молодец!—похвалил Никифор Павлыч.—Я теперь тебя сделаю разведчиком.

Ночью дружина ходила на Садовую и опять собрала

столбы, дрова и доски и сделала из них баррикаду на прежнем месте.

А через час явились полицейские и пожарные и разобрали баррикаду. Дружина выстрелами прогнала их и опять из тех же столбов и досок соорудила баррикаду. И так было несколько раз.

Утром вдруг где-то близко ахнул пушечный выстрел. Дружинники заволновались. Никифор Павлыч сказал Яшке:

— Яшка, не узнаешь ли, что такое там?

Яшка пустился на разведки. На площади у церкви Всех святых он увидел две пушки. Возле пушек суетились солдаты. Три офицера неторопливо ходили возле, командовали. Яшка издали видел, как из пушки вдруг вырвалось длинное, сажени в две, пламя, и вслед за тем раздался оглушительный гром. От ближней баррикады во все стороны дождем полетели щепки, поленья, осколки. За баррикадой уже никого не было. После выстрелов к баррикаде подошли пожарные, облили дрова и доски керосином и зажгли. Баррикада запылала. А пушки, повернутые с площади в другую сторону, расстреливали другие баррикады.

Весь город был полон пушечного грохота. В пустых улицах выстрелы перекатывались, как гром, и будили тревогу.

Вот все баррикады вокруг площади были разбиты и горели кострами. Солдаты впрягли лошадей и повезли пушки с улицы к баррикаде, видневшейся вдали.

Это была как раз баррикада, защищавшая вход к заводу с Болотного переулка.

Яшка побежал что было сил назад, чтобы предупредить Никифора Павлыча об опасности.

Но там уже приготовились. Яшка заметил, что дружинников теперь было меньше, но все они были вооружены винтовками, ружьями и маузерами. Толпы рабочих уже не было. Все рабочие разошлись. Только дружинники, сидевшие за баррикадой, приготовились к сопротивлению. Никифор Павлыч—теперь серьезный, чуть хмурый—расспросил Яшку, что он видел, и сказал двум дружинникам, чтобы те дворами прошли в тыл артиллеристам и попытались их попугать.

Но уже было поздно. Пушечный выстрел раздался близко, над головами что-то пролетело с хрипением и свистом и огнем рассыпалось над крышами заводских корпусов.

Никифор Павлыч крикнул:

— Отступать!

Дружина, растянувшись цепью, вдоль стен, пошла к заводу. Позади грохотало, и все увидели, как от баррикады, разбитой снарядами, летели щепки.

На заводском дворе было пусто. Дружинники вбежали в столовую. У двери направо, на широком обеденном столе, лежал раненый рабочий и возле него возилась сестра милосердия. Трое рабочих поспешно подтаскивали столы и лавки к окнам и загораживали их. Больше в столовой не было никого. Знакомый плакат висел под потолком.

«Жить в свободе, умереть в борьбе».

Никифор Павлыч сказал:

— Товарищи, здесь дадим бой. Если неудача, отступим. Окружат—все умрем. Идет?

И все ответили просто:

— Идет!

Кто-то сказал:

— Мальчишку-то надо бы прогнать отсюда.

Яшка дерзко сказал:

— Я не уйду, хоть убейте!

Никифор Павлыч махнул рукой и усмехнулся:

— Ишь, какой храбрый. Пусть останется.

И больше уже никто не обращал на Яшку внимания. Столпившись в углу, дружинники долго считали и делили патроны, потом осматривали окна и двери. Из окон было видно, как по ближним улицам рвутся снаряды. Слева, недалеко от заводских ворот, показался отряд солдат с двумя пушками.

Пять дружинников подошли к окнам и начали стрелять в них из винтовок.

— Смотрите, убежали. Урра!—взволнованно закричали там.

Яшка подбежал к окну. Солдаты суетились на углу возле орудий. Но вот они оправились,—там блеснул огонек, и в тот же момент все здание дрогнуло от удара снарядом. Печально звякнули стекла, и штукатурка посыпалась с потолка. Сестра милосердия крикнула:

— Товарищи, помогите вынести раненого!

Два дружинника подбежали к ней, подхватили раненого

и понесли к двери. Сестра пошла за ними. Новый снаряд опять потряс все здание. Яшка не знал, что делать. Бежать? Будто стыдно. Вся столовая теперь была полна белой пыли. Дружинники стреляли из всех окон. Вдруг Никифор Павлыч обернулся к Яшке и крикнул:

— Ну, маленький дружинник, ты теперь уходи. Да вот записку отнеси отцу. Я напишу.

Он достал книжку из кармана, вырвал листок и начал что-то писать. Яшка ждал. Он увидел на полу угли, высыпавшися из печки. Он поднял один и написал на стене:

«Мы сейчас уйдем, но мы скоро придем».

Никифор Павлыч протянул записку:

— Отнеси вот. Беги через двор к пруду, там пройдешь по Глубокому переулку. Беги.

Яшка схватил записку и побежал. Сзади что-то загрохотало. Над двором рвались снаряды. Не чувствуя ног под собою, Яшка бежал по двору. Слева взвизгнуло и хлестнуло по стене. Красная кирпичная пыль закружилась в воздухе. Вот и калитка к пруду. Нигде—никого. Стреляли позади. Тут Яшка заметил, что-то тянет его карман, мешает бежать. Он сунул руку в карман. Там был револьвер. Яшка выхватил его и бросил у берега в пруд.

«Если спасусь, найду», подумал он.

Позади выстрелы гремели беспрерывно. Яшка обогнул пруд и оглянулся. Над заводом поднималось облако дыма,— там начинался пожар.

Яшка на момент остановился и погрозил кому-то кулаком:

— Мы скоро придем.

А со всех сторон раздавались выстрелы.

Люкша.

1.

Кличку «Люкша» дала ему улица. Играя с товарищами в «лапту», «чушки», он бил с левой руки и этим возмущал своих товарищей: обычно в игре подают шар или мяч под правую руку, из-за Люкши приходилось под левую.

Отец Люкши, человек с характером, грубый. Ему не приходится подолгу работать на одном месте. Его уже не берут

работать, потому что он «ералашный» и все ищет какой-то «справедливости».

В потертом летнем пиджаке, в опорках на босу ногу, измятый, с отекшим лицом, придет домой, постоит, посмотрит на голодных, грязных детей, вздохнет. Закроет козырьком глаза, согнется и уходит вновь на «бражку».

Там ходит «по толкучке», меняет, продает у неопытных товарищей белье, просит «у господ» что-нибудь «донесть»... Ночью сидел в пустой лавчонке, в кругу таких же, как и он, пел песни, плакал, жаловался на судьбу, жизнь...

— Ведь я не хуже других работник, а не берут, потому что я не люблю шептать на ушко. Больно это мне—унижаться! Не в моем это характере... Они думают, что я ничего не понимаю. Думают, что я должен работать на них! Норовят обмануть, больше им работай, да кланяйся, молчи... Не хотят знать, что у меня дети с голоду подыхают... А работать я к ним не пойду, нет... Эх!..

Он ударял кулаком по столу, опускал голову и тихо рыдал...

Мать в такие дни, когда отец на бражке пропадает, ходила по родным и знакомым, просила хлеба, работы... И бывало так, что приходила ни с чем. Мочила платок слезами и тихо стонала.

Плакали и сестренки и, наплакавшись, голодные ложились на одну кровать, плотно прижимаясь, чтобы было теплей...

В темной мутности Люкша проснется, высунет голову из-под тряпья, глядит на окна, покрытые толстым слоем льда, на трещины в стенах; они во льду, как будто бы плачут от холода крупными слезами—падают на пол. Люкша пустит «пар» изо рта, ежится от холода и снова уходит под тряпье...

2.

Был день, когда отец пришел озабоченный и сказал:

— Вот что, сынок, ты уже вырос, отдам-ка тебя учиться. Вот отработаю полмесяца, куплю, что надо, и валяй—ходи учись.

Но немного Люкше пришлось учиться. Только было научился складывать буквы, чтобы прочесть одно слово, сапо-

ги лопнули, «разошлись», и не было возможности их починить. Люкша показал отцу сапоги, вернее—голенища, и спросил:

— Как быть?...

Отец махнул рукой.

— Брось, не ходи,—видно, не для нас наука-то. Пойдешь по моей дороге. Поговорю ужо с хозяином, может быть, возьмет тебя в кузницу-то, из-за хлеба. Так-то, пожалуй, и лучше будет. Да-а...

Люкша в кузнице. Звонко стучат молотки, брызжут искры, шипит, обдавая паром, красное железо, мнется оно под ударами, на что-то жалуется, дрожит под ногами земля... И между ударами слышится грудное, резкое: ах... аха... ах... Люкша стоит у горна, медленно дергает веревку, смотрит, как быстрое бегающее пламя обнимает, лижет тлеющие угли, гудит—то вновь уйдет, утихнет... Черные, крепкие фигуры, напрягая мышцы, подаваясь вперед, с силой опускают молот, и из грудей вылетает что-то хриплое, сдавленное. Жилы на руках наполнились кровью, обозначились, переплелись; капли пота скользят по лицу, оставляя светлые полоски. Люкша видит, как отец, работая, ворчит, злится, с усилием поднимает молот и слабо бьет по наковальне... Жалкий, бессильный стон вырывается из впалой, костлявой груди...

— Эй, щенок,—обращается к Люкше мастер,—отнеси-ка вот эту штуку. Помнишь, куда мы с тобой заходили, и нас здорово там облаяли?

— Помню.

— Ну, так вот, катись!

Люкша бегал по городу, заходил в жилые высокие дома, с любопытством разглядывал мягкие ковры, расположенные дорожкой, яркий, лощеный пол, поднимая кверху голову, и нюхал воздух, в котором чувствовался запах лесных цветов. Рассматривал жильцов этих хором, чистых, гладких людей, спокойные, равнодушные их лица. Глядел и спрашивал себя: «Что это за люди? что они делают? и почему у них все как-то по-другому, непохоже на нашу жизнь?» И, уходя, уносил в душе намеки на другую жизнь, на других людей.

Отец умер в углу кузницы, с молотком в руке, сидя.

А Люкша пытливо глядел на противоположную сторону улицы—там спали богатые люди,—стараясь разгадать, почему именно живут они хорошо?..

Но каменные стены молчали.

В душе у Люкши стало ныть, болезненно что-то шевелиться.

И стало ему ясно, почему отец бранил, не любил жизнь, детей и пил напропалую... Люкша почувствовал всем сердцем ненависть отца к этим жадным людям, на которых он работал. Отец знал, что, сколько ни работай, все равно толка не будет.

Все равно нужда будет кричать на каждом шагу. Только теперь он понял, почему отец пропадал на «бражке». Жалко стало отца, горячие слезинки покатились по лицу... «И я буду работать на кого-то, неустанно стучать молотом, лишь бы только сытым быть. И много нас таких бедных, забитых, и все мы живем убого». В душе росло что-то протестующее, злое. Невольно мысленно переносился в хоромы.

«Те, что живут в этих хоромах,—думал он,—не работают, а только распоряжаются... Это они заставили жить так бедно, так убого... Это они приходят в мастерскую, осторожно переступая ногами, чтобы не испачкаться. Это они зажимают нос, чтобы не нюхать пыли. Это они бросают, как собакам, заработанные гроши. Это они отворачиваются, когда перед ними на коленях ползают люди, вымаливая заработанное»... Люкша стал их узнавать. Они везде и всюду.

— Отец, отец, слышишь? Я, я буду работать. Давай мне твой молот!

В лице огоньками загорались глаза.

И в доме еще сильней завыли от голода.

Мать осунулась, сморщилась, чуть передвигает ногами, слезы выплакала, глаза потемнели, бесцветные стали и подолгу останавливаются на худых, синих лицах сестер.

А когда они завыли: «мама, есть хочется», мать тихо, без злобы, о чем-то думая, отвечала:

— Где я вам возьму?

Люкша лежит на кровати и упорно думает о том, что еще ждет там, в солдатах... Молчать, как и до сих пор, стиснув зубы, и делать, что прикажут?.. Тот же гнет, тот же холод? Одна за другой мысли бегут, меняясь. Встает прошлое: голодные дни детства, одиночество, тяжелый труд, постоянное стремление заработать на завтра и этот страх: а вдруг прогонят?.. Неуют родного дома... Люкша только

было осмотрелся, поднял голову, только в доме стало чище, светлей,—сестры ушли в люди: только затих голодный вой и вспыхнул огонек, в темном углу зашелестели страницы книг, кто-то непрошенный ворвался, дохнул и потушил свет...

Утром, взвалив мешок на плечи, пошли на станцию. Мать дорогой, всхлипывая, шептала:

— Ты, сынок, не забывай мать-то... Плохо без тебя нам будет, ну да ничего, как-нибудь прокормлюсь, уж чай за тебя-то сколько-нибудь дадут...

Люкша хмурил брови, вздыхал молча...

На станции обычно в такие дни воздух оглашается диким, животным ревом, мелькают заплаканные лица, давят, теснят друг друга. Слышатся жалобные, за душу хватающие причитания...

— Ну, прощай, мать!..

— Прощай, милый!..

Раздался протяжно зовущий свист локомотива, стукнулись буфера, толпа заревела, ахнула, заплакала, визжа, гармоники закричали, засвистали. Поезд медленно отходил.

— Куда?

— За что?

Люкша сжал голову руками, смотря на молодые смеющиеся лица, слушая безысходную грусть в песнях, чувствовал что-то родное, свое в них.

— Как тяжело!..

— Зачем?.. Кого убивать?

Поднимаясь вверх по лестнице, в новое мрачное жилище—казарму, читал надписи: «боже, царя храни», «уборная», «9-я рота». Поднявшись на третий этаж, перешагнул порог «своей» роты.

Длинный, узкий проход. По бокам нары, окрашенные в синий цвет, над нарами крупные буквы. «За царя и отечество»... «Стреляй метко, но редко»... «Штык сломился—вцепись зубами».

Голые доски. Мрачные окна. Новые люди.

«Прежде чем умереть, здесь еще помучают», думает Люкша осматривая казарму.

Пахнет потом, вонью, свесились с нар голые красные ноги. Плачет гармонь. Дни пошли нудные. Утром дежурный

по роте, еле двигая ногами, надтреснутым голосом громко зевал:

— Встав-а-ай!..

Неохотно, вяло поднимались люди с нар.

Начинался день. Гремели чайники, душила пыль, хлопали двери. Спустя несколько минут здоровенный детина набирал в легкие воздуху, дико кричал:

— В-я-а-а рота сми-и-и-рно!

Все умирало на месте. Входил ротный, человек с большим уродливым черепом, мрачным выражением лица, длинными несгибающимися ногами. Вскинет голову, выпрямится и пропищит:

— Здорово, бг-атцы!..

В ответ нестройно неслось нечто похожее на собачий лай.

— Фельдфебель! Взводные! Да разве это—ответ? Выходи на занятие!..

Выходили наружу, начиналось «занятие», начиналась пытка... Тихо, без крика выколачивается все живое, человеческое. Лицо делается деревянным, каменным, без улыбки, смеха,—всегда напряженно-внимательным, вопрошающим... Перед каждою шеренгой стоял такой же человек и рычал зверски:

— Морды выше!

— Живот убери!

— Руками маши!

— Не так!—И короткий быстрый удар. Человек стонал, стиснув зубы...

— Не хныкать, это тебе не дом!—Снова удар.

...Люкша наблюдает за ротным, как тот ходит, рассматривая, ищет глазами слабых. Вот он подходит к одному. Тот переминается с ноги на ногу, смешно машет руками, шинель длинная волочится по земле. Ротный улыбается, стеклянные глаза останавливаются на нем.

— Это что за кукла?.. А?

— Отделенный! Это не солдат! — визжит ротный. — Занимайся с ним отдельно!.. Десять убей — одного солдатом сделай! Ну, ты, чортова кукла, голову выше, плечи разверни!

По широкому ровному плацу бегают, ходят вспотевшие, задыхающиеся люди... В воздух летят отдельные короткие, полные злобы слова:

— Смирно!.. Шагом марш! Крепче ногу! Здорово, братцы!..

Люкша смотрел, слушал и... покорился. Всю силу, мысль напрягает, делает так, как требуют, лишь бы только не быть битым... а в груди кипело что-то, давило, просилось наружу.

— Да за что же так мучают, за что?..

Не было вольного воздуха. Люкша знал невидимые слезы: они утирались жестким рукавом шинели, где-нибудь в углу, подальше от людей... Он чувствовал боль этих покорных людей. Видел, как кровь сочилась из ушей и рта.

3.

В яркий солнечный день в казарму, вместе с запахом теплоты, свежести, как эхо, слабо долетело новое слово: Свобода!

В казарме стало тихо... Опустились с плеч винтовки, замолчали раскрытые рты.

Свобода!— как много в этом...

Слезами радости наполнились мертвые глаза. Сотни грудей вздохнули. Заволновались, зашумели, заговорили человеческим языком... Не сон ли это?.. Нет, голос Люкши звенит, переливается. Дрожат в нем полеты смелой мысли...

— Товарищи!..

Плотно кольцом его обступили.

— Товарищи!

Глухо от волненья, Люкша зарыдал...

— Говори, дорогой! Встань на стол.

Передохнув с силой, Люкша говорил:

— ...За то, что я имею право говорить, крикнем «ура».

Сильное ура пронеслось по казарме. Жалобно зазвенели стекла, упали портреты со стен.

— Конец нашим мукам, страданиям! Мы снова вернемся к жизни, домой... Не будут нас обходить, как прокаженных, уважать нас будут, товарищи!..

Снова загремело ура. У входа, опустив голову, стояло начальство, тихо о чем-то говоря. Под ногами у них лежал портрет «обожаемого ими монарха».

Шумные, крикливые дни. Дни, полные обещаний, надежд. Говорили много слов... говорили — и только. В жизни

ничто не менялось. Не было новых путей. Шли по старой, наезженной дороге... И Люкша заметался, забегал. Часто стал приставать с вопросами «к сознательным»:

— Освободились? Итти умирать? Опять быть куклой? Снова на фронт?

— Нет, нет, — торопливо возражал Люкша. — Постойте, дайте мне уверенность, за что я пойду умирать? За что?.. За свободу? За какую? Где она?

— Вон тех господ посылайте умирать за свободу, тех, которые спокойно гуляют по городу. Довольно! Почему только все мы да мы, неужели нам всех больше надо!.. Пошли вы к чорту с отечеством... Да нет у меня ни отца, ни матери — я сам жить хочу!.. Поняли?..

Люкша волновался, доказывая свою правду... И когда он отходил, то вслед ему неслось: «У... скотина, рассуждать стал... Раньше-то молчал?»

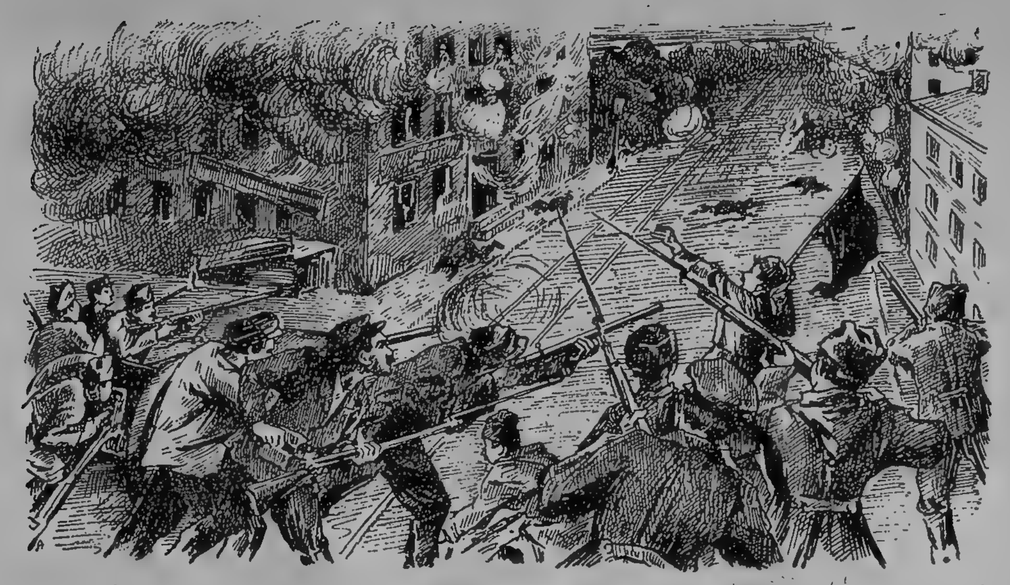
4.

Густой туман. Холодно. Тускло отсвечивают уличные фонари, отражая застывшие лужи... Ветер свистит, разгоняя сухие серебристые листья. На улицах напряженная тишина... Не слышно звуков жизни. Все куда-то ушло, молчит, притаилось...

Ветер порою доносит шум мотора, топот лошадиных ног, и что-то тяжелое, громыхая, ползет по мостовой. 13-я рота занимает место в центре города на горе, и каждый шаг, движение врага заметны. Баррикады за ночь устроили чудесные, в них можно продержаться долго. Поверх насыпи лежат, связанные проволокой, телеграфные столбы, бока окопов обложены кирпичом.

От горящих костров идет синий дымок. Около них ходят, растирая руки, серые фигуры. Люкша лежит в цепи и пристально глядит вперед. Там, за садом, расположились о н и, которых надо уничтожить, иначе жизнь не будет иметь смысла. Люкша не противоречит себе. У него нет мучительных вопросов: за что? Он пошел умирать за свою власть. Люкше хотелось видеть своего родного товарища.

И он крепко сжимает винтовку, глаза блестят решимостью, отвагой, и сердце бьется так часто, так больно...



Октябрьский бой.

Петька.

1.

Записывались просто: незнакомый молодой рабочий в черной, смятой, как блин, фуражке, сдвинутой на затылок, с серым острым лицом (папироска в углу рта) вписывал в синюю ученическую тетрадь имена тех, кто приходил.

— Фамилье? — отрывисто спросил он, когда Петька с сильно бьющимся сердцем, застенчивый, смущеньем связанный по рукам и ногам, очутился перед его столом. Петька ждал, что его прогонят: «Куда, паршивец, лезешь? Молоко на губах, а тоже»...

— Петр Клоков, — почти прошептал он.

— С какой фабрики? — опять спросил рабочий, не поднимая от тетради глаз.

Петька сказал.

— Номер винтовки?

— Чего? — спросил Петька, не понимая вопроса.

Но рабочему ответил солдат, стоявший у груды винтовок, сваленных на полу здесь же у стола; он проговорил длинный номер и сунул Петьке винтовку в руки.

— Иди к тому столу, — показал он рукой в глубину комнаты, где у длинного стола, накрытого черной клеенкой, толпились рабочие уже с винтовками в руках. Петька, широко

улыбаясь, крепко держа винтовку обеими руками, пошел. Он не чувствовал ни рук, ни ног, словно они были ватными, и плыл в тумане.

Ему дали какую-то бумажку, патронные сумки из холста, пачки патронов, ременный пояс, а потом молодой солдат, бойкий и веселый, что-то говорил ему о затворе, о том, как надо держать винтовку, брал винтовку из его рук, щелкал затвором и все спрашивал:

— Понял, товарищ?

— Понял, — невнятно отвечал ему Петька, хотя от волнения не понимал ни одного слова.

В углу комнаты, у окна, рабочие рассматривали только что полученные винтовки, заряжали их, гремели затворами, подпоясывались новыми желтыми солдатскими ремнями, прилаживали сумки с патронами и сговаривались, кому и с кем итти.

В большой комнате было холодновато, дымно и сыро. Пахло махоркой.

— Ага, и Клоков с нами, — весело сказал низенький безусый рабочий, когда Петька подошел к окну.— Записался?

Петька маслом растекся — широкой улыбкой.

— Записался.

— Постой, постой, товарищ, — вдруг живо и насмешливо отозвался другой рабочий с широким лицом, по которому через всю щеку и подбородок шла белая полоса — старый шрам:— Ты же ведь в эс-эрах ходил. Как же ты теперь-то?

Петька вспыхнул малиной, будто его поймали в краже.

— А правда, зачем же ты записался? — спросил первый рабочий.

Все рабочие, что стояли у окна, смеясь, смотрели на Петьку. Петька задохнулся.

— Нет... Я больше не хочу... с ними...

И вдруг сразу выпалил:

— Ну их к чорту! Они к буржуям подмазываются.

Рабочие засмеялись. Низенький безусый энергично кивнул головой и хлопнул ладонью Петьку по плечу.

— Верно, товарищ. Теперь рабочие должны итти с большевиками.

Все заговорили шумно, задвигались, а Петька незаметно отошел в сторону.

2.

Шли серединой улицы шумной и веселой гурьбой. А на тротуарах стояли густые толпы народа и хмуро смотрели на них. Петька все боялся, что его увидит мать и заставит вернуться, но когда прошли Кудрино и вышли на Садовую, он успокоился и пошел уже весело, словно его кто подбадривал. Везде было полно народа. Еще никогда Москва не казалась такой многолюдной, как в первый день гражданской войны. Шумно носились грузовые автомобили с солдатами и рабочими, точно вазы с качающимися цветами. Слышались крики ура, отрывочное нестройное пение и выстрелы, выстрелы со всех сторон.

Петька, сдвинув шапку на затылок, шел смело с самым решительным видом. Когда проезжали автомобили с солдатами, он кричал ура, срывал с головы свою обтрепанную серую шапчонку и отчаянно махал ею. Туго подпоясанный ремнем, подтянутый, взволнованный, он будто плыл в толпе: так легко было ему итти.

И толпа, и улицы, и эти крики ура, и сам он—все это было таким новым, и все так диковинно изменилось, что Петьке хотелось и петь и смеяться от радости, хотелось сорвать с плеча винтовку и долго стрелять в воздух.

Вооруженные солдаты и рабочие собирались на Скобелевской площади у дома генерал-губернатора — старого, с желтым строгим фасадом. В доме был революционный штаб. Солдаты и рабочие с винтовками в руках пробирались через узкую дверь, заполняли комнаты, черно-серой массой толклись в белом зале и на широкой с золочеными перилами лестнице, громко разговаривали, курили. Острый табачный дым стоял сизым облаком над толпой по всем комнатам.

Петька впервые был в этом большом, всегда таинственном доме, где жили только князья, графы и очень важные генералы. Он с удивлением смотрел на высокие лепные потолки, на зеркала во всю стену, на белые колонны огромного зала и с гордостью думал:

— Наша взяла...

Высокий человек в теплом с барашковым воротником пальто, но без шапки, с длинными волосами, растрепанными

и повисшими, как темная спутанная кудель, поднявшись на стул, надрывно кричал тенорком:

— Тише, товарищи. Нужно заслон в Камергерском!

И еще кричал что-то, чего Петька не разобрал.

Рабочие заговорили шумно, заволновались.

— На Камергерский, товарищи. Держись!

И, толкаясь, группами начали уходить и на ходу щелкали затворами винтовок. Петька потерял в толпе товарищей и с незнакомыми пошел на улицу.

Выстрелы внизу Тверской гремели беспрерывно. Пососедству с домом генерал-губернатора стояли часовые, предупреждавшие рабочих и солдат, идущих вниз по Тверской:

— Цепью, товарищи. Осторожно.

Солдаты и рабочие пригибались на ходу, прятались за выступы стен, шли гусем один за другим. Мостовая была пуста, что после шумных и людных улиц тревожило.

У Петьки запрыгало сердце и сперло в груди. Он крепко, обеими руками, вцепился в винтовку, готовый каждую минуту выстрелить, и шел за другими, приседая и останавливаясь, как все, бессознательно подражая им в движениях и даже в манере итти.

— Пэк-пэк! Тррах! — гремели выстрелы совсем близко. Что-то резко щелкало в камни мостовой.

— Летают, голубки,—засмеялся солдат, шедший впереди.

Петька оробел.

— А что это? — спросил он.

Солдат насмешливо, мельком глянул на него.

— Что? Канфета. Подставляй рот и лови.

Петька смущенно засмеялся.

— Ничего, не робей, брат. Пойдешь на войну, не то увидишь.

— А отсюда стрелять нельзя?

— В кого же ты будешь стрелять тут? Тут не в кого. Иди вон на тот угол, — угрюмо ответил высокий солдат с поднятым воротником шинели, в серой шапке, глубоко надвинутой на уши.

— А страшно итти туда?

— Ты попробуй.

Солдат лениво потоптался, помолчал и вдруг оживился:

— Айда-ка, товарищ, вместе. Я вперед, а ты за мной.

Вместе-то веселее. Только берегись. Стрелять будут, брякайся на землю.

У Петьки забилось сердце, и по спине побежали мурашки, но он храбро ответил:

— Что ж, идем.

— Зря вы лезете, — лениво сказал кто-то сзади.

— Ну вот еще, скажет тоже, — сердито отозвался солдат, — идем.

Он поглубже надвинул шапку, поправил винтовку, подтянулся и быстро побежал вдоль стен по тротуару, низко пригибаясь на бегу. Петька бросился за ним. Один дом пробежали, другой. Где-то щелкнул выстрел, и окно над головой солдата печально звякнуло. Солдат прыжками бросился к зеленому крыльцу аптеки и здесь присел. Петька, точно подкинутый пружиной, метнулся за солдатом и присел рядом с ним. Солдат тяжело дышал.

— Откуда это? — тревожно спросил Петька.

— А чорт их знает. Должно, с крыши.

— А ведь могут убить.

Солдат хмуро, мельком взглянул на парня, и в этот момент Петька заметил, что солдат дрожит, как в ознобе, а лицо позеленело, и глаза странно расширились и посветлели. Стало жутко. Едва разжимая челюсти, сквозь зубы, солдат сказал:

— Убить могут... это как пить дать. Того и гляди.

Оба, крепко прижавшись к камням крыльца, сидели минут пять. Солдат все дрожал и сквозь зубы ругал кого-то.

Между тем стрельба стихла. Не стреляли даже в Охотном. Солдат поднялся на ноги и осторожно начал осматривать крыши домов, потом рванулся, прыжком выскочил из-за крыльца и побежал через улицу. Петька, не помня себя, почти не сознавая, что делает, побежал тоже. Сверху нервно и беспорядочно затрещали выстрелы. Вокруг защелкало. Солдат, бежавший впереди, неловко споткнулся, выронил винтовку и, громко выругавшись, грохнулся на мостовую. Петька успел заметить, что солдат смаху ударился головой о камни, и его серая шапка отлетела вперед.

— А... а... скорей! — кричали с угла.

Петька перебежал улицу, спрятался за угол и только тогда оглянулся. Солдат лежал все там же, где упал, а кру-

гом него по камням мостовой щелкали пули и подскакивали изредка кусочки земли, поднятые ими...

— Готов, — отрывисто говорили солдаты, стоявшие за углом: — нужно лезть было, чертям.

Они сердито смотрели на Петьку, будто он был виновником смерти солдата, и ворчливо ругались. А Петька бледный, задохшийся, оглушенный стоял у стены. Он так испугался, что готов был бросить винтовку и по-ребячьи заплакать. Но удержался. И так стоял долго, судорожно отдуваясь. Он вдруг отчетливо вспомнил, как солдат заскорузлой большой рукой надвигал на уши шапку и деловито поправлял винтовку.

Сверху, с Тверской, приехал автомобиль со студентами-санитарами и подобрал убитого. Быстро положили его на носилки, собрались уезжать, но с угла им кто-то крикнул:

— Шапку-то, шапку возьмите.

Шапку забыли. Вдруг всем показалось, что шапка для убитого необходима.

— Шапку, шапку возьмите, — кричали все.

— Возьмите шапку! — истерично крикнул Петька, — шапку!..

Студент-санитар соскочил с автомобиля, поднял шапку и положил ее на носилки рядом с головой убитого.

Теперь было все в порядке.

3.

— Сейчас наступление, товарищи, готовься.

— Наступление, — проговорил про себя Петька, — наступление.

Под ложечкой у него задрожало. Он заюркал туда-сюда, — искал места, где бы стать, так как думал, что наступление — обязательно итти рядами.

— Наши обходят дворами. Как начнется стрельба, мы...

Но не договорил: там на углу сразу закипела стрельба. Солдат метнулся в улицу и тротуаром, не оглядываясь, побежал к Охотному. Петька дрогнул, заревел «ура» и за ним. И в раз перегнал. Один, впереди всех, сломя голову бежал, а навстречу ему неслось горячее — может быть, воздух, может быть, пули, — и ветер визжал в ушах...

Остановился он только на углу, у крайнего дома, и видел, как вниз по Моховой бежали синие и серые шинели, и три раза успел им выстрелить вслед.

Взволнованный и торжествующий, он взобрался на крыльцо охотнорядской часовни, чтобы оттуда лучше и подальше видеть.

Стрельба шла все время около университета и у Кремля. Ни юнкеров, ни студентов не было видно.

Но Петька, беспокойно оглядываясь, все искал, откуда опасность.

— Идут юнкера!—вдруг резко крикнул из-за часовни детский голос.

И в тот же момент кругом часовни и на улице грянули частые выстрелы. Толпа завыла, заметалась. Мальчишки падали на землю, на четвереньках ползли к лавкам. Дрожа всем телом, Петька попытался, приседая, пробежать к углу Тверской, но едва выбежал из-за часовни, как попал под выстрелы. Он увидел, что из ворот соседних домов поодиночке и группами бегут юнкера и студенты с винтовками на перевес и что на всех соседних крышах виднеются фигуры людей с винтовками. Петьке казалось, что все, кто засел на крышах, целят прямо в него. Он метнулся назад. на крыльцо часовни, под защиту стены. На бегу юнкера и студенты в упор стреляли в солдат и рабочих. У самого угла часовни, на грязных, покрытых осенней слякотью плитах тротуара уже лежало несколько человек, судорожно корчившихся и кричавших, а рядом с ними валялись брошенные винтовки. Несколько солдат плотно прижались к стенам часовни и стреляли в юнкеров. А те цепью бежали прямо на них. Вот они вскочили на самое крыльцо, где судорожно метались растерявшиеся солдаты и рабочие. Петька будто в полудреме видел, как юнкера штыками с размаха тыкали солдат, а те дико выли и хрипели и руками пытались ловить штыки или сами стреляли в юнкеров на расстоянии двух шагов.

Забыв, что можно стрелять и сопротивляться, Петька прижался к стене и крепко уперся в холодные камни, словно хотел вдавиться в них. Широкими глазами он смотрел на юнкеров, которые около него расстреливали мечущихся солдат и рабочих, и ждал, замерев. Два юнкера пробежали совсем

близко. Один на бегу вскинул винтовку и прицелился в голову Петьки. Петька ясно увидел его темные круглые глаза. Блеснул яркий огонь. Выстрела Петька не услыщал.

Песня рабочих.

Все, чем отчизна гордится,
Все, что красуется в ней,
Нашею силой родится,
Потом, трудом наших дней.
Мы воздвигали неслышно
Стены роскошных дворцов,
Парки раскинули пышно,
Гладь серебристых прудов.
Все для насущного хлеба
Мы созидали за грош,
Все для избранников неба,
Все для ленивых вельмож.
Ныне ж родному народу
Тяжкий свой труд отдаем,
Братьям усталым свободу,
Мир и покой создаем.

Гражданская война.

Мы стояли возле крутого глинистого овражка, голого с нашей стороны и поросшего с противоположной сухим кустарником... Выстрелы смолкли.

Казак распряг лошадей, опутал им ноги и пустил на лужайку. Потом он сходил за версту на родничок, собрал хворост, и мы, развеселившись, как дети, принялись зажигать костер из предосторожности на самом дне овражка. Агит-вагон пламенел в последних лучах заката, надписи и плакаты выделялись, как огненные. Должно быть, его видно было издали. Это не понравилось нашему красноармейцу. Он снял с козел рваную рогожку и накинул ее на самый яркий угол вагона.

Мы устроили барышню-машинистку за перегородкой агит-вагона, а сами улеглись на его лавках, не раздеваясь. В окна глядели большие звезды. Из долины несло ночной сыростью,

кони наши, выйдя из зарослей, шевелились возле вагона, вскидывая завязанными ногами и дергая головой, отчего по земле прыгали огромнейшие тени. Возница и не думал спать. Закутавшись в бурку и взяв ружье, он ходил взад и вперед вдоль овражка, время от времени скручивая папироску...

Я долго ворочался, потом свежий воздух свалил меня, и я заснул.

Как вдруг, среди самого крепкого сна, чувствую,—бьет меня кто-то кулаком по уху, раз, два, три, четыре... Вскочил я, как безумный, — оказывается, бьет в ухо треск перестрелки. Да какой еще. Не поймешь, откудова, с какой стороны. Вокруг меня бегали, проснувшись, музыканты, не решаясь выскочить из вагона, выглянуть из окошка.

Я однако же отдернул занавеску. Мне представилось ужасное зрелище. Возле самой стены, вздыбившись от выстрела, стояла наша лошадь. Она казалась в этой позе огромной. За ее спиной отстреливался казак, ухватившись за ее гриву. Внизу валялась другая лошадь, должно быть, убитая. А вокруг, справа, слева, со дна овражка лезли на нас страшные существа, косматые, как черти, в смутном предутреннем свете казавшиеся призраками.

Они орали неистово. Они стреляли без умолку. Их еще сдерживали меткие выстрелы нашего возницы, прятавшегося за раненую лошадь. Но вот пуля попала ей в брюхо. Тяжело захрипев, она содрогнулась, выпрямилась, как человек, и обеими передними ногами подмяла под себя казака, рухнув с ним вместе наземь. Я слышал, как у казака хрустнули кости. Потом в стенку вагона застучали, как град, пули, и, прежде чем я опомнился, чья-то рука за шиворот оттащила меня от окна.

— На пол! — крикнул мне хриплый голос грузина. — Товарищи, у кого есть оружие, — к дверям.

Оружие — револьвер — оказалось только у него одного. Он выхватил его из-за пояса и бросился к дверям.

Музыканты сбились на полу в обезумевшую кучку. Один залез под скамейку. Барышня-машинистка стояла у стены, белая, как полотно, зажавши уши руками. Она не кричала, только беспрерывно шептала что-то. Почти бессознательно водя глазами по комнате, я встретился с еще одной парой глаз, спокойных до жуткости. Это был худенький человек

в синем. Он сидел в углу вагона. Заметив, что я смотрю на него, он сказал совершенно просто:

— На нас наехал разъезд белых. Постарайтесь спастись, если уцелеете в первую минуту. Скажите, что вы, музыканты и барышня были насильно мобилизованы для участия в митинге.

В эту минуту грузин, отстреливавшийся в дверях, упал. За мною протяжно охнул кларнетист. Барышня закричала отчаянно, истерически, каким-то чужим голосом:

— Спасите! Спасите! Не трогайте!

В двери раздался залп, мы услышали крики:

— Сдавайся!

Один из музыкантов был ранен. Мы крикнули в ответ:

— Сдаемся! Среди нас женщина.

— Комиссара, — продолжали реветь снаружи. — Выходи поодиночке, руки вверх, комиссара вперед.

Тогда худенький человек взял в одну руку портфель, в другую—фуражку, пошел как ни в чем не бывало к двери, и я услышал отчетливый голос, упругий, как мячик, ясный, пронзительно-спокойный:

— Я комиссар.

Впечатление было настолько сильно, что мы на несколько мгновений позабыли о всякой опасности.

На секунду воцарилась тишина. Худенький человек стоял. Солнце начинало заниматься и лизнуло крышу нашего вагона, бросив розовый отсвет на лицо человека с портфелем. Вдруг сразу, как со дна пропасти, завизжало, заорало, захрипело десятками нутряных голосов:

— На кол его, ребята, бей в морду!

— К стенке! На кол!

В ту же минуту мохнатая лава людей серым комком облепила нашего комиссара, сорвала его с порога и увлекла вниз. Я слышал команду:

— Назад! Не добивать прежде времени! Допросить и на кол!

Потом те же мохнатые люди (они казались нам такими потому, что носили высокие мохнатые шапки — это был один из именных полков добровольческой армии), так вот эти мохначи ринулись на нас, связали и выволокли поодиночке на воздух.

Нас стали допрашивать. Нас арестовали.

Началось допрашивание комиссара. Впрочем, нельзя было назвать это издевательство допрашиванием. С лица его лилась кровь. Верхние зубы во рту были выбиты. Отвечая, он плевал кровью. На вопросы офицера он отвечал ясно, коротко, почти весело. Близорукие глаза (пенснэ было сорвано и разбито) смотрели необычайным взором. Видно было, что по близорукости он не различает ни лиц, ни направления чужих взглядов.

— Пытать!—кричали белые.—Чего с ним канителиться!

Худенький человек выпрямился, поднял руки, как оратор, и воскликнул ясным, звенящим голосом, обращаясь к солдатам:

— Товарищи, близок час, когда вы поймете, что вы делаете. Разве не ради вас, не ради жен и детей ваших борется Красная армия! Подумайте, за кого вы стоите. Подумайте!

— Молчать, собака! — крикнул офицер.

Но он успел еще крикнуть:

— Товарищи, да здравствует рабоче-крестьянская республика! Вы все поймете, вы будете с нами. В вагоне приготовлена для вас литература. Берите себе вагон!

Офицер с проклятием выстрелил в лицо тому, кто агитировал. Он был вне себя, когда заорал, чтобы жгли вагон.

Тут-то я и увидел самое необычайное во всей моей жизни. Да, милые вы мои, бело-солдаты ринулись к вагону, набились в него — и пусть я провалюсь, если вру, делая вид, что разрушают вагон, совали себе, кто во что успел, нашу литературу. Один за голенища, другой за пазуху, третий в рукав под шапку. Я видел в окошко их лихорадочные движения, это казалось полусознательным. Должен сказать вам, что и я сохранил на память, подобрав тихонько, обгорелую щепку от нашего вагона и сохраню ее до самой своей смерти.

Шесть месяцев спустя после этого весь юг был окончательно очищен от белых. Я встретился случайно с одним из тогдашних мохначей, — он был уже красноармейцем.

— Почитай, целиком перешли мы в Красную, — сказал он мне между прочим. — Эта самая литература душу нам как прожгла. С того дня и задумались.

Сын коммунара.

Промчится вихрь с неслыханною силой...
Сиротка-мальчик спросит мать свою:
«Скажи, родная, где отец мой милый?»
И сыну мать, склонившись над могилой,
Ответит гордо:
«Пал в святом бою.
Он призван был в дни черной непогоды,
Когда враги душили край родной,
Грозя залить кровавою волной
Святильники у алтарей свободы,
На их удар ответил он ударом
И пал, от братьев отводя беду.
Отец твой пал солдатом-коммунаром
В великом 18-м году».

Привет и ласку ото всех встречая,
Сын коммунара спросит мать свою:
«Не понимаю. Объясни, родная;
Я мал и слаб; за что мне честь такая
В родном краю?»
И мать ответит маленькому сыну:
«К тебе горят любовию сердца
За крестный подвиг твоего отца,
Погибшего в тяжелую годину.
Стонала Русь под вражеским ударом,
Грозила смерть свободному труду...
Отец твой пал солдатом-коммунаром
В великом 18-м году».

«Но почему мы не в каморке тесной,
А во дворце живем с тобой... Взгляни—
Какой простор, какой уют чудесный...
За что был отдан бедноте окрестной
Дворец царей? Родная, объясни».
И мать ответит, мальчика лаская:
«Раскрыли перед вами дверь дворцов
Заслуги ваших доблестных отцов.
Что пали, за свободу погибая;

Шел враг на Русь с мечами и пожаром,
Неся с собой смертельную беду...
Отец твой пал солдатом-коммунаром
В великом 18-м году».

И смолкнет сын, в раздумии глубоком
Взирая на могильный холм борца
И думая о доблестном — далеком;
Гигантом пред его духовным оком
Восстанет тень почившего отца.
И даст он клятву тою же тропою
Всю жизнь свою бестрепетно итти
И не сходить с отцовского пути
Непоколебимо гордою стопою:
«Клянусь быть честным, доблестным и ярым,
К насильникам всю жизнь питать вражду:
Отец мой был солдатом-коммунаром
В великом 18-м году».

Гимн рабочих.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!
Станем стражей вкруг всего земного шара
и по знаку, в час урочный, все вперед!
Враг смутится, враг не выдержит удара,
враг падет, и возвеличится народ.
Мир возникнет из развалин, из пожарищ,
нашей кровью искупленный новый мир.
Кто работник, к нам за стол... Сюда, товарищ!..
Кто хозяин, с места прочь... Оставь наш пир!..
Братья-други... Счастьем жизни опьяняйтесь!..
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг!

Рабочий.

— Для чего, — меня спросили, —
век я молотом стучу?
Я ответил, ударяя:
— Есть хочу!
— Для чего, — меня спросили, —
плуг и грабли я кую?
Я ответил, ударяя:
— Труд люблю!
— Отчего, — меня спросили, —
праздной жизни не ищу?
Я ответил, ударяя:
— Не хочу!
— Кто, скажи, устроит лучше
жизнь тяжелую твою?
Я ответил, ударяя:
— Сам скую!

III.

НОВАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧИХ.



Своими силами.

В большом помещении, где находились стеклоплавильные печи, называемые гуттами, стояла удушливая жара, немного умеряемая большими вентиляторами.

В этих печах поддерживалась температура до 1.600 градусов. Огромная печь, около которой остановился Петруха, имела форму большого шатра, покрытого сводом. В очаге, устроенном ниже пола, ярко горело пламя. Ударяя о свод печи, оно расходилось в стороны и вниз по каналам, ведшим в дымовые трубы.

Петруху для начала поставили в ручную выдувку бутылок. Окуная конец трубки в стеклянную массу, он набирал часть ее и выдувал пульки (груши).

Горячий воздух жег грудь. Ежеминутно, с непривычки, парень останавливался, чтобы отдышаться. В помещении стояла сильная жара, и пот градом лил с Петрухи. Он сбросил куртку. Но в голове продолжало стучать.

«Ну, и работа. Помрешь», думал парень.

Но справа и слева работали десятки рабочих и не умирали. Они уже втянулись в эту работу, и она не казалась им ужасной. Петруха пыхтел, сопел, потел и выбивался из сил.

— Устал? — спросил Павел, с сожалением глядя на сына.

— Устал, — искренно ответил парень. — Чай, никуда не годится?

Отец улыбнулся.

— Вначале всегда не годится. Обойдешься.

Павел стоял у формы и выдувал бутылки. Он так наловчился, что выдувал их по сотне в день.

После шести часов работы Петруху отпустили домой.

Выйдя с завода, он облегченно вздохнул. Как хорошо было на свежем воздухе! Петруха сразу забыл и про усталость, и про жару.

— С завода? — спросил его пятнадцатилетний Мишка, сын стекловара, жившего на той же улице. — Чай, устал?

— Ну, вот еще! Дело привычное, — хвастливо ответил Петруха. И, заломив шапку, козырем зашагал дальше.

С этого дня он, как и все рабочие, начал аккуратно ходить на завод.

Завод был оборудован плохо. До войны в нем было исправно, но хозяйственная разруха послереволюционного времени отразилась на нем. Много станков попортилось, пострадали печи, в некоторых машинах нехватало частей. По этому поводу между рабочими часто происходили споры, слышались нарекания.

Но среди недовольных порою слышались и иные рассуждения.

Однажды, придя в клуб на собрание комсомольцев, в союз которых Петруха вступил на второй месяц после поступления на завод, Петруха заметил необыкновенное возбуждение среди молодежи.

Молодой парень, забравшись на стол, говорил речь, отчаянно жестикулируя руками.

— Ну да, ну да, все мы видим, что завод плохо оборудован, — говорил оратор. — Многие недовольны, ворчат. Некоторые хотят бросать работу. А по-моему, это говорят те, которые не видят дальше своего носа, кто думает только о себе.

Оратор сделал легкий перерыв, обвел глазами слушателей и продолжал:

— Мы — комсомольцы, мы — новые, юные силы, выдвинутые революцией. И не нам, конечно, говорить такие речи. Мы — будущие хозяева производства, без которого не может существовать человечество.

— Верно, товарищ, правильно, — раздались голоса.

— Вихрь революции произвел ломку, — продолжал оратор, — но пролетариат должен суметь восстановить производство. Мы обязаны не только восстановить, но и улучшить, совершенствовать. Мы должны любить работу, любить самое созидание. Ведь революция ставила своей задачей созидание новой жизни. Усовершенствование производства даст стране богатство, всем трудящимся — жизненные удобства. Мы, рабочие, любящие свою республику, мы, юные коммунары, должны первыми итти по правильной дороге.

— Молодец, — невольно воскликнул Петруха.

— И для того, чтобы улучшить жизнь, мы должны улучшить производство, стараться восстановить разрушенное и усовершенствовать существующее, — говорил молодой оратор. — Труд—двигатель жизни и прогресса. Комсомол, вперед!

Он высоко поднял руку, как бы призывая всеобщее внимание, и громко закончил:

— Завод наш плохо оборудован. Средств на ремонт нет. Да разве их взаправду нет? А мы-то на что! Разве мы не можем пожертвовать нашим трудом по три-четыре часа в неделю. Мы не подрядчики.

— Кто согласен на субботник?

Гул, крик и рукоплескания покрыли его слова.

Несогласных не оказалось. Молодежь чувствовала себя как бы выросшей, ободренной.

— Хорошо, правильно говоришь. Объявим субботники, — кричал Петруха. — Наш труд укрепит завоевания революции.

Глаза его блестели.

Он вдруг вскочил на стул и громко крикнул:

— Да здравствует революция! Да здравствуют труд и Комсомол!

— Да здравствуют труд и революция! Да здравствует Комсомол! — восторженно ответили хором десятки голосов.

Кто-то запел «Интернационал», вмиг подхватили и остальные.

Сказано — сделано.

Каждую неделю, по субботам, после окончания обычных работ, закипала другая, добровольная работа, в которой люди старались перещеголять друг друга.

Чинились заброшенные, попорченные станки, ремонтировались печи, исправлялись машины.

Каждый делал, что мог.

В этой работе не было насилия.

Тут работала одна сплоченная семья.

Среди других работали и Павел с Петрухой, и Сергей, все молодые комсомольцы.

— Вот погоди, что мы сделаем из нашего завода, — радовался Петруха. — Пускай партия посмотрит.

Павел покачал головой.

— Все это хорошо, да одно только плохо. Говорил я тут с механиком. Нужны некоторые части, а денег на покупку нет. Разве в Совет обратиться?

Петруха возмутился.

— Ну, вот еще, или без денег не обойдемся? А труд наш разве не деньги?

И в одну из суббот, по окончании работ, он обратился к товарищам.

— Товарищи! На машинные части нужны деньги. Но денег у нас нет. Я предлагаю добыть их.

— Как добыть? Откуда добыть?—послышались вопросы.

— Гайда завтра на выгрузку вагонов, а у кого лошади— подвези дрова на станцию. Заработок пойдет на покупку необходимых частей! — крикнул Петруха.

— Браво, браво! Здорово придумал. Молодец Петруха. Уж начали, так и кончать надо,—загудели голоса.

Голосовать не пришлось. Решение было принято единогласно, и на следующий же день, воскресенье, на станции закипела работа.

Работать пришлось с утра до вечера, но никто не думал отказываться. В то время, как одна партия разгружала вагоны, другая рубила в лесу деревья, пилила их и подвозила к станции, где дрова раскладывались в поленицы.

Весело шла работа. Не за страх, а за совесть.

Паровоз № 100.

1.

На заводе чувствовалось необычайное настроение. Несмотря на праздничный день, синие блузы рабочих мелькали в мастерских и на дворе. На загорелых лицах, покрытых

копотью и потом, можно было уловить оттенок радостной торжественности, точно весеннее утро принесло с собой неведомое счастье.

Солнце ослепительно блестело в синеве неба. Легкий ветерок колыхал верхушки деревьев ближнего парка и весело подгонял клубы коричневого дыма из заводских труб.

Поодаль, где стальные блестящие рельсы прорезали зелень равнины, наблюдалось особенное оживление.

На рельсах стоял новый паровоз, блестевший на солнце свежестью красок, медными частями и стальными поршнями. Из трубы выбивались клубы серого дыма.

Спереди, с боков и сзади паровоза отчетливо виднелась крупно нарисованная цифра «№ 100».

Металлургический завод, недавно пущенный после перерыва, выпускал уже сотый паровоз. Об этом знало все население рабочего поселка, и теперь оно вместе с отцами, женами и детьми явилось на этот великий праздник труда.

2.

Загорелый, с седеющей бородой на умном, серьезном лице, машинист Данилыч рассказывал о былом своему помощнику, привинчивавшему последнюю гайку под тележкой тендера.

— Был тоже у нас такой случай. На механическом заводе, лет десять назад, взялись мы праздник отработать. Спускали локомотив на рельсы... Хозяину, вишь ты, срочный заказ поступил. Все честь честью... Попа привозили, молебен служили по случаю благополучного окончания. Уговору на счет платы не было—остались ни с чем. Зато пять ведер водки хозяйской получили. К вечеру перепились. Драка, ругань... Ночью, якобы для усмирения, арестовали десятка полтора наших товарищей... Потом их совсем угнали с завода...

Вся площадь на заводском дворе густо усеяна рабочим населением. Прибежали ребятишки, пришли работницы. Стали перетаскивать обрубки дерева, поленья, дорожку расчищали... Смеялись.

— А мы то кто ж? Праздновать, что ль, не умеем. И наша копейка не щербата.

К полудню паровоз был окончательно готов к отправлению. Теперь все рабочие сгрудились сплошной толпой около

него, и казалось, что цифра «№ 100» отражалась в глазах каждого из них...

— Товарищи, люди добрые, дайте посмотреть на него... Говорят, сотый номер. А ведь у меня муж и два сына работают на заводе...

Старушонка протискивается ближе к паровозу и крестится... На нее улыбаются.

Заводский комитет в полном составе тут же. Один из товарищей выделился, поднялся на топку, протянул руку.

— Тише, тише! Говорить будут!

Машут фуражками. Комитетчик вглядывается в толпу, обнажает голову и начинает:

— Два года тому назад мы, товарищи, стали хозяевами завода. У нас нелегко наладилась работа. Помните, сколько было всяких затруднений. Теперь мы выпускаем сотый паровоз. Мы одержали победу!

Слова подхватываются, рассыпаются по толпе, как тяжеловесные зерна. Ветер колышет полы рубашки оратора, несет к нему струи пара и дыма и точно вдохновляет к новым призывам.

— Завтра мы начнем 101-й паровоз. Впереди еще много работы...

Рабочие лица так напряженно-внимательны. В душе у каждого точно так же, как в этом близком, родном паровозе, собирается сила, растет, толкает вперед.

Последний свисток.

Толпа схлынула с рельс. Встрепенулись паровозные мускулы, задвигались поршни и мерными взмахами покатились колеса. Грянуло в воздухе могучее «ура», а потом понеслись звуки рабочего «Интернационала».

В последний раз мелькали памятные цифры «№ 100»... «№ 100»... «№ 100»...

Паровоз скрылся вдали. Рабочие расходились.

Доносились отрывки речей.

— Завтра 101-й начинать...

— Эх, в жисть не видал такого праздника...

Где-то залилась песня. Слышалась в ней новая сила,— сила борьбы и труда. Звуки ее тонули в теплом весеннем воздухе, уплывали в зелень парка и будили живую силу стального завода.



Заседание завкома.

Председатель завкома.

Дядя Вася живет на чердаке.

Узкая скрипучая лестница приводит желающих к самым дверям «теремка»,—так дядя Вася называет свое немудреное жилище.

А гостей у дяди Васи всегда вдоволь. И как только кончается работа, начинает скрипеть лесенка, как муравьи ползут к своему «советчику» мужчины и женщины.

Дядя Вася является председателем завкома и поэтому нужен он почти каждому труженику.

Комната у дяди Васи узкая, длинная и имеет опрятный вид. Низкий потолок сверкает белизной. Стены, оклеенные зеленоватыми обоями, украшены портретами видных деятелей, вождей Октября.

В свое время побывал он на эс-эровском, чехо-словацком фронтах и вернулся оттуда со шрамом на щеке и с простреленной рукой. А вернувшись, не застал дома жены: она умерла от тифа. Единственную любимицу-дочку, одиннадцати лет, дядя Вася отправил в деревню, к дедушке с бабушкой, чтобы не избаловалась без присмотра.

Неглубокий шрам, полученный в рукопашной схватке, нисколько не портит лица дяди Васи: он даже как будто бы подчеркивает доброту его серых глаз.

Рабочие не называют его иначе, как дядя Вася. На собраниях, если кто из рабочих выступает с противоречием или с поддержкой дяди Васи, так он так и заявляет:

— В своем докладе товарищ дядя Вася упомянул о том-то... и так далее.

Настоящая фамилия дяди Васи—Боронихин. Она известна только в конторе, и то в именных списках после фамилии в скобках значится: «Дядя Вася».

Чистоту и порядок любит он в своем «теремке».

Работать на заводе начинают с девяти утра; дядя Вася встает в шесть, разводит малюсенький самоварчик и начинает протирать подоконник, табуреты, стол и мести, а то и мыть пол.

Дяде Васе 48 лет, но бодрости он не утратил, служит примером молодежи.

Вечером, как только входит дядя Вася в свой «теремок», так сейчас же берется за половую щетку. А там уже начинает скрипеть лесенка.

— Дядя Вася! Можно к тебе на минуточку?..

— Пожалуйста, входите. Присаживайтесь. Что новенького?

— Вот какое дело: как же мне насчет отпуска-то?

— А так же, как и мне: через недельку все поедем. Я в нынешнем году тоже надумал дочурку проведать.

— Да видишь ты дело-то, хотелось бы пораньше: сын у меня надумал жениться.

— Это плевое дело, подождет. Время выбрал тоже для женитьбы—в самую работу...

Через две—три минуты товарищ рабочий соглашается с убедительными доводами дяди Васи и удовлетворенный спускается по скрипучей лесенке.

А на очереди уже еще...

— Что тебе, Аннушка?—спрашивает дядя Вася стоящую посредине комнаты женщину.

У работницы лицо красное, глаза гневом пылают.

— На каком же это таком основании, по какому праву мне не дают пайка?

— А очень просто. Ты не горячись, не волнуйся, садись вот сюда. Ты когда поступила на завод? В мае?

— В мае.

— Ну, вот, а пайки выдаются еще только за апрель. Подожди несколько деньков, получишь за май и за июнь— сразу два.

— А что же эти-то—Тимофеев на складе прямо мне и заявил, что тебе не будет никаких выдач.

— А это потому, что он не умен, да и лень ему повертеть языком, объяснить как следует.

Удовлетворенная, Аннушка направляется к дверям.

— Уж вы извините, что время отняла.

— Сделайте одолжение, заходите, если понадобится.

— Дядя Вася, я к тебе с большой просьбой!—заявляет надтреснутым басом новый проситель, рабочий.

— Садись, Тихон Петрович, гостем будешь, рассказывай, в чем дело!

— Да и рассказывать тут нечего. Письмецо получил из деревни. В спальне кого просить прочитать не охота; будут рассуждать да хохотать...

— Вот то-то и оно, без грамоты-то как: научиться надо. Давай письмо-то!

Садятся они рядышком к столу, низко склоняются над бумажкой, и дядя Вася, с трудом разбирая закорючки, читает:

— Во первых строках нашего письма посылаем тебе с любовью низкий поклон, а еще просим тебя, дорогой Тихон Петрович, поторопиться приехать на работу, да еще захвати Ванятке какую ни то обувку, а Марфутке ситчику поцветистей. А мы сыты, не голодны, и у нас в приходе большая новость: попа Микиту арестовали и увезли в город. У него нашли венчик с Казанской Богородицы, а ризу с Егория победоносца с копьем он продал лавочнику Садулину, и Садулина забрали...

— Вот что анафемы делают!—возмущается дядя Вася.

— Да уж ироды, нечего сказать,—соглашается Тихон Петрович.

Долго еще скрепит лесенка, и много еще люду толпится в комнатке «теремке». А потом дядя Вася еще раз метет пол, разжигает лучину под таганом и в солдатском котелке варит себе ужин.

Часов в девять является к дяде Васе задушевный товарищ, рабочий Жилкин. Человек он семейный, степенный,

в летах. Приходит он к дяде Васе газету почитать, потолковать.

— Добрый вечер!

— Здорово! Что-то ты запоздал сегодня?

— Да с ужином замешкался. Ну, как живешь?

— Так же, как и вчера, да только вот без бабы плохо,— рассказывает дядя Вася.—Намедни вздумал домашнюю лапшу сварить, замесил тесто и еле сообразил с ним. Сварил, а потом вымыл руки, да стал в жестянку мыло убирать и уронил его в котелок. Такая досада—всю лапшу испортил.

— Да, без бабы плохо,— согласился Жилкин.

Разгорается беседа. А потом они пьют чай и читают газету от передовицы до последней строчки объявлений.

Седьмое ноября.

Столяры, слесаря, кузнецы,
Вы, творцы
Новой жизни, грядущей навстречу,
Славьте радостный день годовщины—
Мирового восстанья предтечу!..
Пусть умолкнут станки,
Не шумят исполины
Машины,
Не снуют молотки.
Выходите вы, жители темных предместий,
Пусть под топоты ваших шагов
Даже камни кричат о борьбе и о мести.
Пусть до слуха врагов
Лозунг наш долетит: «на часы, пролетарий!
Длится с хищником злобным борьба!»
Сестры, братья, сурова судьба
К тем, кто красное знамя восстанья
Водрузил на земле...
Много мук и страданья
Стерегут нас во мгле,
Но в последнем бою
За свободу свою
Победителем будет не шайка дворян,
А рабочий—земли капитан.

Вы, строители пышных дворцов,
Синеблузые, крепкие люди,
Выходите! пусть ветер коммуны
Ваши впалые груди обвеет...
Над громадой домов
Наше красное знамя, как кровь, пламенеет...
Славьте день Ноября—
Это наша вторая заря!

Тульский староста Сергей Иванович Степанов, красный директор Тульского завода.

(Корреспонденция в газету „Правда" рабочих заводов Грозного и Заркина.)

Мы, рабочие Тульского патронного завода, не можем умолчать о своем директоре завода. Наш Сергей Иванович и друг, и отец, и хозяин, и учитель, и воспитатель, и руководитель, и советник. Сам он работник инструментной мастерской, работавший все время в качестве токаря. С ранних лет попал на завод учеником, так как учиться не было возможности, потому что отец его, рабочий, умер, когда Сергею было 14 лет, а для содержания семьи нужны были средства. Скоро он попал в ссылку и в 1917 году возвратился опять к станку.

Он избирается старостой цеховых комитетов и председателем расценочной комиссии. В 1919 году т. Степанов назначается директором завода.

С раннего утра до поздней ночи работает. Пережитые годы лишений, продовольственных недохватков его не обходили, и он вместе с нами, рабочими всего завода, переживал нужду.

Его согласованная работа с заводскими организациями обеспечила теперешний расцвет жизни завода. Охрана труда, вентиляция, отопление, снабжение кипяченой водой, помещение для обеда, для чтения, бесед, занятий, кружок и ликвидация неграмотности — все им предусматривается. А специальной одеждой, обувью рабочие удовлетворяются полностью; жалованье рабочим выплачивается всегда вовремя без задержек. Трудны были условия работы кузнецов.

Тов. Степанов решил выстроить новую кузницу по новой системе. Бани и парикмахерская удовлетворяют полностью 10 тыс. рабочих и служащих бесплатно. Две амбулатории, больница и детские ясли. Все зимы рабочие удовлетворялись дровами. Летом 37 семей рабочих жили на дачах в Щегловском лесу. Эти дачи принадлежали раньше богачам, а теперь, по просьбе тов. Степанова, переданы заводу, и теперь ежегодно будут там жить рабочие.

Тов. Степанов говорит: «рабочие теперь господа положения, они призваны к созданию коммунистического общества; но для этого надо, чтобы они были грамотны и технически образованы». И вот при его содействии организуется и ведется ликвидация неграмотности. Поставлена школа заводского ученичества на 280 человек, детский дом-ясли, 2 библиотеки, клуб и при нем различные кружки.

На заводе отремонтированы котлы на электрической станции, организовано паровозно-ремонтное депо, выпущено за два года 7 паровозов и много вагонов, организовано и производство самоваров, выпускающее по 600 штук в месяц. Много делает тов. Степанов, чтобы наладить сельское хозяйство завода. Есть и пасека, и ферма, на которой 28 коров, дающих молоко для рабочих, работающих со свинцом.

Вот каков наш директор С. И. Степанов. Мы его считаем своим тульским старостой, как т. Калинин—Всероссийский староста. Он наш представитель в верховный орган республики—ВЦИК, в Тульский губисполком и председатель Горсовета.

Анюта.

1.

Анюта, работница-накладчица, вместе со всеми шла от вокзала за гробом Ильича.

Как только показался из вагона красный гроб, что-то полоснуло по сердцу, большое, остро неиспытанное...

Тихо шла и все старалась «хоть кончик гроба видеть».

Дрожала в своем поношенном пальто, и ноги, как кочерыжки, от мороза.

— Ты бы домой шла,—говорили,—разве в такой мороз выдержишь?

— Нет, я провожу до места.

Потом ходили прощаться. Лавой со всех концов плыл народ... На площади стояли долго, говорили. А как поднялись по лестнице, сразу все смолкли... Шли, затаив дыхание...

Увидела близко его, как проходили.

Спокойный лежит... точно спит... Опять сжалось сердце и все мысли в одну жуткую вошли: мертвый... ничего не скажет больше...

Видела его года два назад на Красной площади...

«Как все», подумала тогда, а ждала увидеть какого-то особенного человека, не как все... Руками живо так к народу



Ликпункт.

на площади обращался и словами... Не все слышала, а что услышала, звучит всегда: «Своими руками сами рабочие должны ковать свое счастье».

Говорил... а теперь молчит... все сказал, что хотел, все... Когда хоронили, Анюта стояла далеко, за мостом.

Гудки... жуткие какие, и все, что стояли, головами поникли. Его опускали.

2.

— Чтой-то ты, Анна, лампадку не зажигаешь перед образами уже сколько времени: оливы, что ли жалеешь для господа бога и его святых угодников, или подружки в красных косынках научают?

Молча зашивала сыну куртку, не поднимая головы.

— Тебе говорю, оглохла, что ли? Прочищу уши—враз слышать станешь!—И, не дождавшись ответа от жены, с ворчанием стал раздеваться. И потом долго крестился и клал поклоны перед сном.

3.

— Кузьмичева, будешь ходить делегаткой в район?— в перерыве на обед спрашивали Анюту работницы.—Вот будут перевыборы, так мы тебя решили от нас выбрать.

— Может, кого помоложе бы,—нерешительно отказывалась Анюта,—да опять и то: неграмотная ведь я, а надо же доклады делать о том, что там слышать буду у нас среди работниц... нескладно выйдет...

— Старуха какая, в тридцать восемь-то лет! А насчет нескладности брось, как сумеешь, так и передашь.

Так ее и выбрали. Радостная домой уходила.

4.

— А ты, Анна, брось шляться по собраниям, а то я не больно церемониться буду с тобой. Совсем сбесилась баба! Лампадку не зажигает, в церковь перестала ходить. Феклушку молитвам не учит, в школах-то закона божия не преподают, так дома в страхе божием девчонку держала, а то она «отче» конца не знает, «богородицу дева радуйся» совсем путает, басурманкой растет девчонка.

— Не смеешь говорить, что шляюсь; не шляюсь я, а учусь, повязку-слепоту с глаз скидываю... Покойный Ильич вон как о нас, о работницах, говорил: «Всякая,—говорил,—кухарка должна уметь управлять государством». Так разве слепые-то смогут что сделать? Вот и ходим и учимся... А насчет Феклушки да молитв, так я своему ребенку не враг, чтобы туманить ей голову поповской брехней.

Кузьмич смотрел во все глаза на жену, не понимая, как такая тихая, безответная, когда бил, заговорила с ним, с мужем, так...

— Дождешься, Анна, что выволоку, губу распустила как!

Не отвечала. Когда муж уснул и сын Алексей пришел с собрания, долго говорили, все сыну рассказала, что на сердце было.

— Не горюй, мама, будем вдвоем воевать с отцом, наша возьмет, не осилит.

Любовно смотрела на сына.

5.

— Что это за синяки у тебя, Анюта?—спрашивали работницы, как пришла на фабрику.—Ударилась обо что?

— Ох, и говорить-то и стыдно, и больно, а скажу: избил муженек, как пришла с собрания в субботу: убил бы, кабы сын не подоспел... Знал бы Ильич, как измываются над нами мужья...

— Знал, Анюта, все знал. Поэтому и болел сердцем и за нас и за мужьев наших... за темноту всю...

— Значит, ходить на собрания больше не будешь?

— Ну, нет! Этого не дождется! И не подумаю поддаваться. Феклушу в пионеры впишу... Втроем будем против его: сломим, если совсем ума не пропьет, а пьет так, что не пойму, как не загорится внутри у него.

— А как с иконами, неужто решишься повыбросить?

— Там видно будет,—улыбалась.

— Ну, и Кузьмичева, кремень! А смотри,—говорили на фабрике,—совсем ведь серая с виду.

И любовно ее оглядывали, иные с завистью.

6.

Когда пошабашили и шли домой, Антон Ковалихин, сосед по станку, серьезный и степенный, говорил Кузьмичеву:

— Пойдем сегодня на открытую ячейку, принимать будут Ленинский набор и из нашего отделения человек 5—6 подали заявление, пойдем!

— Ну и пусть их вписываются! Мне-то что до этого?

— Как что? Да, может, какой и недостойный войти в партию захочет—отведем! Да и интересно, как вопросы задавать начнут.

— Посмотрю, можа, и пойду,—раздумчиво отвечал.

7.

Жарко в клубе. Полно народа. Слушает Кузьмичев, как одного за другим вызывает секретарь ячейки. Выходят к пре-

зидиуму. Иные спокойные, иные волнуются, на вопросы отвечают тихо. Хотел уже уходить. Поздно и устал.

— Анна Кузьмичева,—отчетливо раздалось среди тишины по залу,—работница-накладчица. У кого есть отводы, товарищи, высказывайтесь...

Что? Не ослышался ли он? Нет, вон жена, Анюта, пошла к столу президиума... спокойная какая и такой будто впервые ее видит... Чужая, непонятная ему...

— А как вы, т. Кузьмичева, насчет религии?—задал вопрос молодой рабочий.

— С этим покончила,—ответила, глядя прямо на собрание.

— А мне известно, что у вас в доме и лампадки, и ладан, и все такое было,—задает вопрос другой рабочий.

— Так то было!—улыбается она.

— А как смотрит на это муж?—лукаво косясь в сторону Кузьмичева, задает вопрос работница в красной косынке.— Что он по поводу вступления твоего в партию?

Минуту Анна молчит, смущенная, а потом подняла голову, выпрямилась:

— А как делегаткой ходила, первое время за косы таскал... бил, вся в синяках ходила, видели, небось... Да я не сдалась, а насчет того, что в Ленинский набор вступаю, не знаю... не говорила об этом с ним...

Каждое слово жены плетью опускалось на Кузьмичева... кровью от стыда до волос лицо заливает... провалиться бы лучше сейчас... не слышать...

— Да он здесь, муж, у него спросите,—продолжал хлестать голос жены.

Не знал, куда деваться от устремленных взглядов...

Глянул исподлобья в бок—во всю вышину портрет Ильича...

Замерло сердце, и мурашки забегали по телу, как с глазами его встретился...

— Нехорошо, нехорошо, брат, поступаешь с женой, с другом своим, а она вон как, не побоялась побоев, идет к свету, к знанию. Понимает, что только своими руками, запасшись знанием, рабочие возьмут целиком счастье,—как бы говорили с портрета глаза.

Не знал, куда деваться от режущего стыда.

8.

Долго не говорил с женой. Избегал взглядом встречаться. Стыдно было и сыну в глаза смотреть. Уходил на работу, не засиживаясь дома, а приходил, молча ужинал и спать. Но не спал. Ворочался и вздыхал.

А как-то поздно, когда семья, уже не дожидаясь его, поужинала и собиралась спать, вошел с длинным свертком в трубку. Подошел к жене и неловко, не глядя:

— Вот портрет Ильича, купил... уж очень похож, как живой! Глазами в сердце читает прямо. Ничего не спрячешься от их, от глаз... Пока хошь без рамки повесь, вон там,— указал,—а ужо куплю и раму...

— Да вить там, папанька, иконы висят?—защебетала Феклуша, обрадованная, что «по-тихому» отец заговорил...

Анюта смотрела на мужа с удивлением. Не верила тому, что слышала.

— Их можно тово... иконы-то... снять,—сказал и отвернулся, отыскивая что-то.

Алеша радостными глазами смотрел на мать.

Делегатка.

1.

Среди болот постукивает фабрика, маленькая, старая. Гудит машинами, покуривает понемножку трубою и стоит копченая, забытая, как болотная коряга.

Вокруг разлеглась болотистая равнина, блестят на ней зеркалами озерки. Посвистывают кулики. Кричат чибисы, носятся над мутноватой быстрой речонкой и камнем валятся в болотную осоку.

На том берегу деревенька с избенками у самой воды.

Скучно живется на фабрике. Город далеко, лишь газетными листами да двумя журналами чувствуется он на фабрике. Зато и набрасываются на них рабочие!

Кончат работу, домой идут.

Белый туман ползет по болотам. Вздыхают болота, квакают лягушками, пузырятся гнилой водой и трясут тела работниц и рабочих малярийной лихорадкой, жаром калят их. Бьется местком, как муха о стекло,— нужд много, а помощи

нет. Клуб не организован, библиотека не развернута за неимением помещения, книги сложены в комнатушке месткома. Малярия валит людей с каждым днем все больше и больше, медицинской помощи мало. Сельская больница от фабрики семь верст. Гонит скука рабочих через мостик в деревеньку. Живет там на краю, в избенке, старая Иваниха—самогоном промышляет. Согнулась вся, как старое дерево, крысой шмыгает по избенке, поскляпивает бутылками да копит рабочие и мужичьи денежки. Много раз делали обыски у Иванихи.

Придет милиция—нет ничего.

2.

Появилась Матрена на фабричном дворе неожиданно. Подошла загорелая, запыленная к месткому, краснел на голове платок.

Светились глаза молодостью, и было в них что-то настойчивое, упорное и ласковое.

С любопытством глядели на нее работницы и рабочие. А она покойно подошла к бревнам, что были сложены возле месткома, сундучок положила на них маленький крашеный, узел, видно, с постелью—торчал из узла угол подушки в пестрой наволочке, и, вытерев пот с лица, пошла в местком.

Сбоку поглядел на нее председатель, буркнул себе под нос:

— Чего тебе, товарищ?

— Работки нельзя ли у вас найти, вот и документ у меня.

Бумажку печатную протянула председателю к носу и села возле на стул. Взял тот. Глядело с бумажки:

«Долбинская прядильная фабрика сим удостоверяет, что Матрена Вендина работала на фабрике в качестве ткачихи и уволена по сокращению штатов».

Внизу бумажки ручейками разбегались в разные стороны подписи и шлепнулась глазастая синяя печать.

Почесал в затылке председатель, еще раз на бумажку глянул, сказал, зевая:

— Погоди, товарищ, сейчас директор придет, с ним и поболтаешь. Народ-то нам требуется,—малярия убрала несколько человек. Вот он, легок на помине, директор-то. Болтай с ним.

Директор вошел. Портфель толстый из-под локтя вылез, блестела кожаная куртка.

Колючие глаза в председателя воткнулись:

— В чем дело, товарищ Дронин!

— Да вот работы просит ткачиха, у ней и документы имеются.

— Ну, что ж, можно принять. Пошли ее, товарищ Дронин, в красильно-гладильное отделение, там народ нужен сейчас.

Так и осталась работать Матрена. Получила комнатку с воробьиный нос в угрюмом корпусе. На высоком фундаменте среди болота стоял корпус. Заливало его болото, чавкало около самых стен гнилой водой и звонило тростниками возле окон.

Сошлась Матрена с товарками. Подружилась, влезла в их жизнь, как винт в гайку, и крепко-накрепко припаяла всю себя к ней.

Огляделась. Осмотрелась вокруг и начала жить да беседушки с работницами вести. То за самогон их поругает, то книжку прочтет.

Ходуном ходит фабрика. Гудят отделения, как пчелиные ульи. Висит на стене бумажонка, чернеют на ней буквы:

— Перевыборы месткома.

Толпятся возле рабочие и работницы, и голосистые бабьи голоса вылетают вместе со стуком станков через раскрытые окна и двери наружу. Кружатся по двору и гвалтом пестрым летят на болота.

Кричат работницы:

— Что ж, надо и работницу в комитет выбрать, може, лучше дела пойдут у нас, мужики-то толстокожи да ленивы, не скоро за дело берутся.

— Плох комитет, — ерепенится и хохлится, как наседка, желтая и худая Дарья, — чего говорить, хины не может схлопотать, вот две недели трясет меня лихоманка, ослабла вся, а в больницу сил нет сходить, поди-ко на слабых ногах отмахай семь верст туда да семь оттуда, ан и все четырнадцать.

— Тише, товарищи, — говорит Матрена, — шумом да криком мы многого не сделаем. Будем организованно дело делать. Наметим кандидатов.

— Да чего уж намечать,—кричат работницы,—иди в комитет ты, Матренушка, чай побойчее ты нас, поязыкастее.

Посудили, погалдели, да и выбрали Матрену.

3.

Стала работать Матрена в новом комитете. Дела много. Как дырья в старом одеяле, глядят прорехи фабричной жизни, все чинки просят. Перво-наперво больничку свою завести обдумал новый комитет. Валит народ лихорадка. Ан помещения и нет. Два корпуса битком набиты рабочими, третий, маленький домик, местком занимает.

Взялась Матрена сама за это дело. Кинулась в деревеньку — нет ни одной свободной избы.

— Кака тебе свободна изба? — отвечают мужики, — што наша деревня-то: мальчонка вспрыгнет на одном конце, а на другом выпрыгнет.

Целый день бегала Матрена. За деревеньку сбежала. По лесочку шла. Глядит — дом расписной весь, да не какой-нибудь маленький, а десяток комнат выкроить можно. А за домом в березках флигелек желтенький в три окошечка. А вокруг дома и огородик, и садик, и пара коровушек с козами ходит. Подошла Матрена к дому, заборчик перед ней стал, желтенький, новенький.

В калитку постучала. Молчит дом. Крепче стукнула Матрена, забарабанила, даже по лесу гул пошел. Шлепнуло во дворе босыми ногами. Задробило в калитке. Открылась калитка.

Голова просунулась, белая вся, как холст, спросила:

— Чего стучишь?

— А то стучу, хочу узнать, чей дом это?

— Дом это директора бывшего фабричного, нет сейчас его дома, на работах, вроде как анжинер, вот туточка, верст за пять, болото осушают у нас.

— Так, так, — протянула Матрена, — широко живет больно хозяин твой, а когда будет он у тебя?

— Завтречка целый день будет, приходи. Да те для ча его?

— Нужно, пондравился, соскучилась по нем, а флигелек-то пустует у вас?

— Пустует, так барахло всякое лежит там.

— Ну, прощай.

Пошла Матрена на фабрику, а в голове мозг работает, кует думушку. Пришла в комитет. Рассказала все. Смеется председатель:

— Ну, и Матрена, сколько времени мы здесь торчим и ничего не видели, а она точно нюхом учуяла.

Посовещались. Бумажку настучали и решили на другой день брать приступом инженерский домик.

4.

На другой день пошел председатель с Матреной. Пришли. Постучали. Открыла девчонка.

— Дома?

— Дома, идите.

Вышел на крыльцо сам «анжинер-дилехтор».

Спросил:

— В чем дело?

Подошел ближе председатель и тихонько этак:

— От фабричного комитета мы, насчет, значит, уплотнения вашего дома.

Покраснел весь инженер, как арбуз спелый, рявкнул:

— Что за ерунда, какое вы имеете право? Я советский служащий, — и бумажку председателю в лицо.

Прочел тот.

— Ну, что же, гражданин Переверзев, это ничего не значит, у вас лишнее помещение, да еще во дворе дом пустой.

— У меня семья, — кричит инженер.

— А у нас сотни работниц и рабочих живут кое-как в клетушках да мучаются от малярии,—набросилась на него, вскипев, Матрена,—больницу негде устроить, а вы расширяетесь здесь.

— Я не позволю, — взвизгивает инженер, — это нахальство!

— А ты не кричи, гражданин, — урезонивает его Матрена,—земля-то фабричная; если кричать будешь, и совсем прогоним.

Покипятился, пофырчал инженер, да и успокоился. В дом их повел. Осмотрели Матрена с председателем дом и решили

переселить инженера во флигель. Опять зашипел инженер, как самовар без воды.

— Разрушен весь флигель, без ремонта там жить нельзя.

Успокоил его председатель:

— Завтра пришлем мы плотников с фабрики, и все, что нужно, они сделают и в большом доме почистят.

Вернулись на фабрику радостные и долго смеялись над толстым инженером.

Через неделю устроили в большом доме клуб. Разбили библиотечку, поглядывают книги с новых полок, зовут к себе, да и для больницы местечко оставили. Командировал местком Матрену в город хлопотать о больнице. Схлопотала Матрена, с ревизией приехала обратно. Нюхнула ревизия дух фабричный. По болотам полазила, нефтью в них поплескала. На больных поглядела и уехала.

А через неделю врача прислала с лекарством. Оживилась фабрика. Пошла борьба с лихорадкой. Чистенько в новой больнице. Стоит хвост рабочих и работниц. Кому хины, кому уколы. А вечерами битком набит клуб. Беседы, чтение, смех, песни. Стоном стонет дом от них. А Матрена не унимается. Заглянула к Иванихе, будто за самогоном, и разговорилась с ней:

— Вот что, бабушка, брось это дело — народ спаивать, иди лучше к нам на фабрику сиделкой в больницу, и риску меньше, и сыта будешь.

Задумалась Иваниха:

— Правда твоя, девонька, уж так боязно, так боязно, все поджилки трясутся, пока варишь, нужда старушечья заставляет на это дело итти, не нужда, стала бы разя я этим делом займаться.

Согласилась старуха. Ушла на фабрику. Отрезвела деревенька. Поохали мужики, повздыхали, ругнули кое-где Матрену с оглядкой и затихли:

— Поди свяжись с ней, вон она какая, самого инженера из дома выкурила.

Как устроила Матрена больницу с клубом, веселее пошла жизнь на фабрике, и не узнаешь ее. Пьянства нет. Рабочих из библиотеки не выгонишь. А Матрена, говорят, сейчас хлопочет о фабзавуче и спортивной площадке.

Рабочий кооператив.

1.

Два приятеля Кузьма Наживин и Егор Кумачев долгое время работали мирно на транспорте. Кузьма и Егор были дружны. Часто их можно было видеть вместе: вместе они уходили с работы домой, вместе бывали на рабочих собраниях, иногда заглядывали в рабочий клуб.

В трудные голодные годы им нередко после работы приходилось часами выстаивать в очереди у своего пустого, как их желудки, кооператива, ожидая получения своей нормы: 18 на рабочего и 10 на члена семьи.

Во время этих томительных «стоянок» они от скуки заводили всякие разговоры.

Подчас эти мирные беседы принимали довольно шумный характер. Эта шумиха доставляла даже некоторое удовольствие: время проходило незаметно, незаметно сокращалась очередь.

Кузьма в этих «стычках» негодовал по поводу закрытия вольного рынка и скорбел о прежних колониально-бакалейных лавочках, в которых все можно было достать, где все отпускали с почтением.

Егор же сроду недолюбливал купцов и возражал Кузьме, доказывая, что всему виной общий недостаток продовольствия в стране и что народ страдает от бедствий войны, устроенной царским правительством. Голодные плохо с ним соглашались и больше поддерживали Кузьму. Но Егор не сдавался и твердо стоял на своем. За это над ним подсмеивались, поругивали и жестоко спорили с ним.

2.

Время шло. Кузьма и Егор дожили до новых дней.

Вновь возродились рынки, появилась и частная торговля.

Кузьма ожил и повеселел.

Егор насторожился, присматривался и выжидал.

Произошли изменения и в жизни наших друзей. Кузьма много бегал, суетился, чего-то искал, о чем-то хлопотал. Егор хотя и замечал это, но не придавал значения всей этой суете и беготне.

3.

Случилось так, что Кузьма несколько дней под ряд не выходил на работу.

Егор на этой же неделе, в воскресенье, решил прогуляться на базар и по дороге зайти к Кузьме узнать, почему его не было на работе и как он поживает.

Дома Кузьмы он не застал. Соседи Наживина по квартире сказали Егору, что Кузьма Филатыч с утра ушел на базар и вернется к вечеру. Так как у Кумачева было намерение пойти сегодня на рынок, то он, выйдя из квартиры Кузьмы, продолжал свой путь, рассчитывая там же, на базаре, встретиться с Кузьмой. Идя по базару, Егор посматривал на новенькие палатки, лари, столики, заполненные товарами и продуктами. Жадные, ловкие и изворотливые люди, хозяева этих товаров и продуктов, свысока посматривали на снующих и ищущих дешевки покупателей.

Кумачев прошел один и другой ряд палаток, наблюдая пеструю картинку рынка. Вдруг, в третьем ряду, в одной из палаток, он заметил Кузьму.

— Кузьма Филатыч, почтенье! — приближаясь к палатке, заговорил Кумачев. — Давно тебя не видать!..

— Здравствуй, Егор Митрич, откуда? — несколько смущенно в свою очередь спросил Наживин.

— Иду из дома, был у тебя... Что это ты, Кузьма, здесь покупаешь?

— Ты ошибся, мы теперь не покупаем, а продаем...

— То-есть, как это понять?

— Как, как!.. Торгуем, значит, по-русски говоря, — вот и все.

— Купцом, стало быть, хочешь заделаться. А? — укоризненно заметил Кумачев.

— Н-да, Егор Митрич, как видишь, брат, хочу попытать счастья! Дело веселое. Можно копейку зашибить, только налоги покоя не дают.

— Напрасно ты, Кузьма, взялся за эту штуку, не к лицу она нашему брату, рабочему. Своего же бедняка-рабочего будешь обижать. Живодером, кулаком сделаешься... Мало-по-малу перейдешь к нашим врагам.

— Я знаю тебя, Егор Митрич, ты вечно на купцов нападал... Если хочешь, тяни лямку, а я не хочу, — довольно! — злобно отрезал Наживин, махнув в сторону правой рукой.

— Нет, Кузьма, ты не прав, подумай, что я тебе сказал!

— Что мне думать! Я давно обдумал, — перебил Наживин. — Оборот в торговле это не то, что молотком постучать, — тяп, тяп и ладно!

4.

В мастерской Егор рассказал своим товарищам о торговле Наживина.

— Легким путем деньгу задумал добывать, — заметил слесарь Василий Рыжов.

— Какой он, братцы, торговец, штаны последние проживет, да опять возьмется за молоток, — с сердцем проговорил старик Уткин.

— Бросьте, товарищи, это не важно, семья не без урода, — заметил в свою очередь Беков, уполномоченный профсоюза, — это временная болезнь, она пройдет, как только мы окончательно укрепим нашу промышленность.

Егор внимательно прислушивался к суждениям товарищей; непонятное чувство тревоги и решимости охватило его душу. Смутные планы шевелились в его мозгу.

Вскоре в мастерских началось сокращение штатов. В первую очередь решено было избавиться от ленивых, ненадежных, уклоняющихся, самогонщиков и прочих вредных и ненужных людей. Под сокращение попал и Кузьма Наживин. Это его мало беспокоило. Дела у него, очевидно, на первое время пошли не так плохо.

Он задумал перенести свою торговлю в знакомый ему рабочий район, ближе к мастерским.

«Рабочих я знаю и они меня знают, — рассуждал Наживин, — мне известно, какие им нужны товары и продукты; сумею угодить, обижаться не будут, да и сбыт верный. Лавок вокруг нет, конкурентов нечего бояться, можно цену приличную держать. Правда, есть кооператив там у наших рабочих недалеко от мастерских, да я его в счет не ставлю; это горе, а не лавка, там ничего нет, и рабочие туда почти не заходят».

5.

Время летело быстро. О Кузьме в мастерских почти не вспоминали.

Вдруг в один прекрасный день в районе мастерских, над одной из закрытых лавок, появилась вывеска:

Торговое товарищество
«ПОМОЩЬ БЕДНЯКАМ».
Кузьма Наживин и К°.

После этого события, через несколько дней, двери лавки были открыты, в ней появились освещение и товары.

Кузьма в белом фартуке с честью принимал покупателей, приветливо улыбался хозяйкам и смущенно отвечал старым знакомым.

Вечером Егор был в лавке у Наживина.

Кузьма встретил Егора приветливо, показал свое торговое дело, гордо отметил свои успехи и просил не забывать.

— Напрасно ты, Егор, идешь против нас, торговцев, — доказывал Наживин, — рабочих я не обижу, я сам, небось, из вашей семьи.

— Что ты мне толкуешь, Кузьма, знаю я ваши крокодиловы слезы, — спокойно заявил Кумачев, — раз ты пошел по этой купецкой дорожке, то шкуру рабочего вряд ли будешь жалеть.

— Ну, ты опять, Егор, за свое!

— А как же! Смотри, разве твои цены нам по карману?

— Берут и ни слова не говорят... довольны. Вот смотри выручку!

Кузьма открыл ящик и достал кипу цветных бумажек, в порядке сложенных и подсчитанных.

«Будешь брать, коли некуда деваться», подумал про себя Егор.

Осмотрев лавку и товары и ознакомившись с ценами, Егор распрощался с Наживиным и ушел домой.

Когда Егор дорогой вспомнил про свой кооператив и сравнил его с лавкой Наживина, ему стало стыдно за свою потребилку, больно и досадно и за самого себя, и за рабочих. «Неужели мы все не можем наладить у нас дело и поставить его не хуже этих Наживиных, без всякой совести обирающих

рабочих? Благодаря нашей лени и темноте Наживины везде расставляют против нас свои сети».

Дома Кумачева поджидал его приятель Борис Солнцев, который приехал из местечка «Новые Зори», где он работал на заводе сельскохозяйственных машин. Разговорились о разных делах.

Егор рассказал, как он был в лавке Наживина, и жаловался на свой кооператив.

— Нет, у нас не то, — в свою очередь начал Солнцев, — наш кооператив работает на славу. У нас рабочие и не ходят к частным лавочникам, да, правду сказать, их у нас почти и нет. Зачем я пойду к торговцу, раз в нашем кооперативе купить можно все, что нужно: со скидкой и добросовестно. Мы начали с небольшого, но рабочие дружно поддержали, выбрали хорошее правление, и пошло дело.

— Так и должно быть, а наш кооператив никудышный, — грустно заметил Егор, — рабочие им не интересуются, «нет в нем, говорят, ничего».

— Вот что, Егор, приезжай к нам на собрание в субботу. Кстати посмотришь и наш кооператив. Уполномоченные собираются для обсуждения разных дел. Приезжай, советую!

— Это верно. Надо у вас побывать и посмотреть, как идут дела, — согласился Кумачев.

6.

В субботу Кумачев уехал в местечко «Новые Зори» к Солнцеву на собрание. С большим интересом и подробно Кумачев познакомился с работой кооператива «Пролетарий».

После всего виденного и слышанного Кумачевым в «Новых Зорях» он твердо и окончательно решил начать агитацию за возрождение своего кооператива и повести борьбу с частными торговцами.

После долгих хлопот и агитации ему, наконец, удалось в мастерских на одном из собраний рабочих поставить вопрос о своем кооперативе. Кумачев рассказал рабочим все, что он видел и слышал в кооперативе «Пролетарий», сравнил его работу с прозябанием своей лавки, напомнил рабочим, что благодаря такой деятельности нашего кооператива у нас

под боком стали появляться «пауки» вроде Наживиных. Рабочие с одобрением выслушали Кумачева и согласились поддержать свой кооператив и внести паи и авансы. Это же собрание решило поручить правлению собрать уполномоченных и с ними подробно обсудить все предложения Кумачева и выбрать новое правление.

Работа закипела. Вскоре собрались уполномоченные, обсудили дела кооператива, приняли предложение Кумачева, наметили новый план работы и избрали новое правление, куда попал и Егор Кумачев, без колебаний согласившийся принять на себя тяжелую и большую обязанность.

Дело постепенно начало оживать. Рабочие стали вносить паи и авансы. В лавке появились нужные продукты дешевле, чем у Наживина.

День ото дня Кумачев все больше и больше приобретал торгового и кооперативного опыта. Чтобы не сбиться с правильного пути и во-время откликаться на все нужды, Кумачев старался все время прислушиваться к разговорам рабочих в кооперативе.

В лавке стало шумно, весело и даже тесно.

Кузьма Наживин с каждым разом видел в своем ящике все меньше и меньше радужных «лимонов». Чтобы спасти свое положение, он пустился на всякие фокусы: стал ловить покупателей, прельщая их кое-каким кредитом, иногда при покупках прилагал коробку конфет или делал скидку, подгонял цены под кооператив и так далее. Кумачев все это беспощадно разоблачил и предостерегал рабочих.

Как-то вечером Наживин зашел к Кумачеву.

— Что скажете, Кузьма Филатыч?— спросил Егор.

— Вот что! напрасно ты, Егор Митрич, всю эту историю затеял, — медленно опускаясь на стул, проговорил Кузьма.

— Какую историю?

— Да вот с этими кооперативными лавками. Что ты больше всех хлопочешь?

— Так в чем дело, Кузьма Филатыч?—недоумевая, переспросил Егор.

— Ты знаешь, в чем... хочешь разорить меня в конец и пустить по миру — вот в чем, Егор Митрич.

— Я тебе коротко отвечу на это, Кузьма Филатыч: у нас дело общественное, мы, рабочие, должны сами себе помо-

гать и бороться против всех, кто хочет жить за наш счет и нас обирать. Мы должны сберегать свои трудовые деньги. Насчет разорения скажу: зачем тебе по миру ходить, у тебя есть руки, сам ты в силе и можешь опять работать. Если хочешь итти с нами на мировую, продай нам свою лавку. Вот, подумай.

Кузьма побелел от злобы и ничего не ответил. Быстро встал, взял шапку и ушел.

Кооператив открыл одну за другой две новые лавки. Все рабочее население записалось в члены и покупало в кооперативе. Лавчонка Наживина доживала последние дни. Какие меры ни принимал Наживин, ничего не помогало; дела его становились все хуже и хуже и, наконец, выбившись из сил, он решил продать свои остатки и лавку кооперативу. Написал заявление и подал в правление.

Правление согласилось купить у него лавку и устроить в ней свой мануфактурный магазин.

После этого Наживину ничего не оставалось, как начать вновь проситься о принятии его на работу в мастерские. При рассмотрении его заявления в месткоме он дал слово, что будет добросовестно работать и навсегда бросит свои торговые затеи и мечту о легкой наживе.

Кузьма Наживин был вновь принят в семью рабочих.

Придя домой, Кузьма с трудом отыскал в чулане свой старый рабочий костюм, привел его в надлежащий порядок. Примерил.

«Как неловко, словно первый раз надеваю», подумал про себя Кузьма.

Первые дни при появлении Кузьмы в мастерской над ним подсмеивались, острили и шутили.

— Что, Кузьма, молотком-то бить трудней, чем «лимоны» считать, — гаркнул над ухом у Наживина Кирюшка.

— Вот, брат Кузьма, как тебя Егор-то наш подкузьмил, не скоро в себя придешь, — смеялся старик Уткин.

— Да, всю жизнь помнить буду, — соглашался Кузьма и, помолчав немного, добавил:

— А все-таки Егор молодец, я уважаю его. Если бы таких Егоров было у нас побольше, то кооперативные лавки всех торговцев забили бы окончательно.

———

СОДЕРЖАНИЕ.



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

	Р. К.
Афанасьев, П. Родной язык в трудовой школе. 5-е издание	1 —
Берри, Дж. Методика по сельскохозяйственному уклону в американских школах. Перев. Н. Ильина	1 50
Былинский, К., Менделев, Я., и Стародубцев, С. Практика лабораторных работ в школе	2 —
Введенский, Д., и Казьмин, П. Упражнения по правописанию	— 90
Воронец, А. Очерки по методике математики в школах I ступени	1 25
Гнедов, А. Справочник по сельскому хозяйству	— 75
Гордон, В. Экскурсии на фабрики и заводы	— 60
„ Машина в современной жизни. 2-е изд.	— 85
Гуревич, В., и Минорский, В. (ред.). Практическое руководство по математике для рабфаков и школ взрослых. Ч. I. 2-е исправл. изд.	2 —
Диомидов, И. Советский строй. Методическое пособие для изучения советского строя в трудовой школе. 5-е изд.	1 —
„ Опыт проработки советской конституции в трудовой школе	— 40
Жаворонков, Б. Как работать по обществоведению на I ступ. 3-е изд.	— 60
„ (ред.). Методы занятия по обществоведению на II ступени. Лабораторно-трудовой метод в работе с подростками. (Сборник)	— 70
Зельцер, С., и Введенский, Д. Как самому изучать русский язык. 3-е изд.	— 70
Зенченко, С., и Карпинская, Л. (ред.). Школа и сельское хозяйство	1 25
Игнатьев, Б. Что читать советскому учителю по естествознанию	— 35
„ Биология в трудовой школе I ступени. 2-е издание	— 65
Калашников, А. (ред.). Советская производственно-трудовая школа.	
Педагогическая хрестоматия. Т. I.	— 85
Педагогическая хрестоматия. Т. II.	1 —
Кардашев, В. Ручной труд. Руководство к самостоятельному выполнению работ	2 50
Карельских, А., и Подъяпольский, Н. (ред.). Спутник народного учителя по сельскому хозяйству	1 75
Кашин, Н., и Старцев, В. Учебная книга по физике Ч. I.	1 25
„ „ „ „ „ Ч. II.	2 —
Красиков, Ф. Упрощенные приборы по физике и опыты с ними. 4-е изд.	1 65
Ланков, А. Математика в трудовой школе. 7-е изд.	1 —
„ Устный счет. 2-е изд.	— 40
„ Математика на службе труда. 2-е изд.	— 40
„ Арифметический задачник для взрослых. 2-е изд.	— 50
Ланков, А., и Мошкова, А. Очерки по методике комплексного преподавания в шк. I ст.	1 —
Лобанов, В. Обществоведческие экскурсии. 3-е изд.	— 40
Медынский, Е. (ред.). Громкая читальня. Подвижная хрестоматия.	
Вып. I. В деревне. 2-е изд.	1 85
Вып. II. На фабриках и заводах	1 90
„ Громкая читальня. Методическое руководство. 3-е изд., переработан. и значительно дополн.	— 45
Мерзон, И. Дальтонский лабораторный план в русской школе, 2-е изд.	— 60
„ Советское строительство в деревне	1 25
Методические письма. Научно-Педагогической Секции ГУС'а:	
Письмо I. О комплексном преподавании. 10-е изд.	— 20
Письмо II. Наша волость. С пред. Н. К. Крупской. 7-е изд.	— 25
Письмо III. Об учете работы в школе I ст. 3-е изд.	— 20
Письмо IV. О безрелигиозном воспитании в школе I ст. 2-е изд.	— 15
Огнев, С. Жизнь леса. 2-е изд.	1 —
Пешковский, А. Школьная и научная грамматика. 5-е изд.	— 50
Подъяпольский, Н. Огород в школе с сельскохозяйственным уклоном	— 45
Покровский, М. Марксизм в программах школ I и II ст. 2-е изд.	— 20
Рыбникова, М. Книга о языке, 2-е перераб. изд.	2 25
Сельскохозяйственное производство в американской школе. Программы американских сельских школ	— 40

	Р. К.
Сергель, С. Экскурсии в лодке и пешком	1 40
Сингалевич, С. Обществоведение в трудовой школе. 2-е изд.	— 65
Смушков, В. Очерк советской экономической политики. 4-е изд.	— 60
Соколов, К., Курилович, Б., Савинская, О. Опыт проработки новых программ для первых трех лет обучения. 2-е изд.	1 25
Стриевская, Н. (ред.). Заочное образование. (Опыт работ Московского губпроса.) 2-е изд.	— 40
Сухова, В. Что может дать экскурсия. 2-е изд.	— 25
Ушаков, Д. Краткое введение в науку о языке. 7-е изд.	— 85
Харузин, А. Руководство по огородничеству	1 75
Челюсткин, И. (ред.). Практика производственно-трудовой школы	1 60
Шапиро, А. Русский язык. Учебник по грамматике, правописанию и развитию техники речи. Для рабочих фак., военных школ и школ взрослых повыш. типа. 2-е изд.	2 —
Шапошников, И. Живые звуки. Методика безбукварного обучения детей грамоте (по образно-моторному методу)	1 75
Шацкий, С. (ред.). Среда—воспитатель и проблема детского сада	— 45
Шлегер, Л. Подход к грамоте. Особенности работы с детьми семилетнего возраста	— 15
Эменов, В. Учебный год в сельской школе на основе программ ГУС'а 3-е изд.	— 60
Якобсон, А. Опыты и наблюдения по физике и химии в школе I ст.	1 35

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Анисимов, М. Деревенская работа Союза работников просвещения. 2-е изд.	— 40
„ Спутник профработника-просвещенца	1 60
Аплетин, М. Международное учительское движение	1 —
Бирюкова, И., и Диомидов, И. О пенсии за выслугу лет работникам просвещения	— 20
Вигалок, А. Что должен знать работник просвещения о своем Союзе. 3-е изд.	— 65
Гельман, И., Равкин, И., Рузер, Е., Соколов, Я. Труд и здоровье педагога	— 90
Дулин, С. Союз работников просвещения в резолюциях его съездов и конференций	1 25
Коростелев, А. Учитель и профдвижение	— 15
Программа элементарной профпропаганды в Союзе работников просвещения. 2-е изд.	— 15
Профграмота просвещенца. Изд. 3-е	— 45
Пятый Всесоюзный съезд Проф. Союза работников просвещения СССР. Стенографический отчет	2 50
Шафранова, А. Опыты изучения труда работников просвещения. Вып. I. Педагоги глухонемых	2 50

Цена 90 к.

Р

